





Франц КАФКА



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2018

УДК 821.112.2(436)
ББК 84(4Авс.)-44
К30

Серия основана в 2007 году

Перевод с немецкого

Кафка Франц

К30 Полное собрание сочинений в одном томе./Пер. с нем. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1023 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2590-7

В данном томе собраны все романы, рассказы и новеллы, написанные знаменитым австрийским писателем Францем Кафкой (1883 — 1924), от малых философских произведений в постмодернистско-сюрреалистическом духе до полномасштабных глубоко трагических романов, принесших ему заслуженную славу создателя самой новаторской прозы XX столетия.

УДК 821.112.2(436)
ББК 84(4Авс.)-44

ISBN 978-5-9922-2590-7

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018

АМЕРИКА

Роман

I. КОЧЕГАР

Когда семнадцатилетний Карл Росман, высланный родителями в Америку за то, что его соблазнила забеременевшая от него служанка, на усталом, замедляющем ход корабле плавно входил в нью-йоркскую гавань, он вдруг по-новому, будто в неожиданной вспышке солнечного света, увидел статую Свободы, на которую смотрел давно, еще издали. Казалось, меч в ее длани только-только взмыл ввысь, а всю фигуру овевают вольные ветры.

«Высоченная!» — подумал он, вовсе не торопясь на берег и даже не заметив, как хлынувшая на палубу толпа носильщиков мало-помалу отгесни-ла его к самым бортовым поручням.

Молодой человек, с которым они мельком познакомились в дороге, про-ходя мимо, спросил:

— Вы что же, сходить не думаете?

— Да я-то готов, — ответил Карл с усмешкой и, то ли из озорства, то ли просто от избытка молодых сил, вскинул чемодан на плечо.

Но, едва глянув вслед своему знакомцу, который уже удалялся вместе со всеми, небрежно поигрывая тросточкой, Карл вдруг вспомнил, что оставил внизу свой зонтик. Карл тотчас же окликнул молодого человека и попросил о любезности — тот, похоже, не слишком-то был обрадован просьбой — присмотреть за чемоданом, а сам, наскоро оглядевшись, чтобы за-помнить место, поспешил вниз. Там, однако, он, к досаде своей, обнаружил, что проход, которым скорее всего можно было добраться, впервые за время поездки почему-то — очевидно, в связи с выгрузкой пассажиров — заперт, и в поисках другой дороги пустился плутать по лабиринту комнат, кают, залов, по бесконечным, к тому же петляющим коридорам, по лестницам, хоть и не длинным, но многочисленным, миновал чей-то пустой кабинет с покинутым письменным столом посредине, покуда не понял — ведь он и ходил-то прежде этим путем всего раз или два, да и то не один, а в компа-

нии, — что и вправду окончательно заблудился. От растерянности — ибо вокруг не было ни души, только слышалось над головой шарканье тысяч ног да еще, откуда-то издали, слабый, как дыхание, уже стихающий гул застопоренных машин, — он, недолго думая, принялся колотить в первую попавшуюся дверь, на которую наткнулся в своих блужданиях.

— Да открыто! — послышалось изнутри, и Карл со вздохом облегчения распахнул дверь. — Что вы колотите как сумасшедший? — недовольно спросил здоровенный мужчина, толком даже не взглянув на Карла.

Через отверстие в потолке тусклый, как бы уже отработанный наверху свет сочился в убогую клетушку, где, тесно прижатые друг к другу, громоздились, словно в кладовке, койка, шкаф, стул и этот мужчина.

— Я заблудился, — признался Карл. — В дороге я как-то не замечал, а это, оказывается, жутко большой корабль.

— Да, тут вы правы, — не без гордости согласился мужчина, не переставая возиться с замком небольшого чемодана, на крышку которого он налегал в предвкушении долгожданного щелчка. — Входите же, — сказал он нетерпеливо. — Нечего на пороге стоять.

— А я не помешаю? — спросил Карл.

— Да чем вы можете помешать?

— Вы немец? — на всякий случай осведомился Карл, наслышанный об опасностях, которые подстерегают в Америке новоприбывших, особенно со стороны ирландцев.

— Немец, немец, — подтвердил мужчина.

Карл все еще колебался. Внезапно мужчина потянулся к дверной ручке и одним рывком прикрыл дверь, впихнув таким образом Карла в каюту.

— Терпеть не могу, когда на меня глазают из коридора, — буркнул он, снова принимаясь за непокорный чемодан. — И вот, понимаешь, ходят-глазеют, никакого терпения не хватит.

— Но в коридоре-то никого нет, — удивился Карл, в неудобной позе притиснутый к краю койки.

— Это сейчас никого, — раздраженно возразил мужчина.

«Так ведь и речь о том, что сейчас, — мысленно удивился Карл. —

С ним, однако, непросто договориться».

— А вы ложитесь на койку, там просторней, — посоветовал мужчина.

С грехом пополам Карл влез на койку и тут же рассмеялся над своей тщетной попыткой покачаться на сетке. Но, не успев толком лечь, спохватился:

— Господи, я же совсем забыл про чемодан!

— А где он?

— На палубе, знакомый один там его стережет. Как же его зовут? — И, порывшись в потайном кармане, который мама нашла в дороге на подкладку пиджака, Карл извлек оттуда визитную карточку: — Вот, Буттербаум. Франц Буттербаум.

— Чемодан очень вам нужен?

— Конечно.

— Тогда зачем же вы доверили его чужому человеку?

— Я зонтик внизу забыл, ну и побежал, а чемодан тащить не хотелось.

А теперь вот еще и заблудился.

— Вы один едете? Без взрослых?

— Один. — «Наверно, стоит держаться этого человека, — мелькнуло у Карла, — более надежного друга мне здесь так сразу все равно не найти».

— А теперь еще чемодан потеряли. О зонтике я уже не говорю. — Мужчина уселся на стул, словно положение Карла только сейчас до некоторой степени стало его занимать.

— Ну чемодан-то, наверное, еще не пропал.

— Блажен, кто верует, — хмыкнул мужчина и энергично запустил руку в свои темные, короткие и очень густые волосы. — На корабле, знаете ли, какой порт — такие и нравы. В Гамбурге этот ваш Буттербаум, может, еще и посторожил бы чемодан, а здесь, скорей всего, обоих и след простыл.

— Но тогда мне надо бежать! — вскинулся Карл, соображая, как бы поскорее выбраться.

— Да лежите вы! — распорядился мужчина и прямо-таки грубо толкнул Карла в грудь, укладывая обратно на койку.

— Это почему же? — запротестовал Карл, начиная злиться.

— Потому что смысла нет, — пояснил мужчина. — Скоро я тоже пойду, вместе и выйдем. А чемодан либо уже украли, и тогда дело дрянь, можете оплакивать его хоть до скончания века, либо этот ваш приятель его стережет, тогда он совсем дурак и пусть постережет еще; ну а если он просто порядочный человек — значит, чемодан оставил, а сам ушел, народ к тому времени схлынет, легче найдем. И зонтик ваш тоже.

— А вы хорошо знаете корабль? — спросил Карл недоверчиво, ибо в доводах незнакомца, вообще-то здравых, — дескать, на пустом корабле вещи отыскать легче, — ему почудился некий подвох.

— Так я же тут кочегар, — ответил тот.

— Вы корабельный кочегар? — вскричал Карл с таким восторгом, будто эта новость превзошла все его ожидания, и даже привстал на локте, рас-

смаывая мужчину во все глаза. — Около каюты, где мы спали со словом, был такой люк, и можно было заглянуть в машинное отделение.

— Ну да, там я и работал, — подтвердил кочегар.

— А я всегда техникой интересовался, — продолжил Карл, все еще думая о своем. — И обязательно стал бы инженером, если бы не пришлось в Америку отправиться.

— Зачем же тогда отправились?

— Да так, — уклончиво ответил Карл, взмахом руки отменяя все дальнейшие объяснения.

— Значит, была причина, — рассудил кочегар, и было неясно, то ли он хочет, чтобы Карл об этой причине рассказал, то ли наоборот.

— Теперь вот и я могу стать кочегаром, — сказал Карл. — Моим родителям уже все равно, кем я стану.

— Мое место освобождается, — сообщил кочегар, демонстративно засунул руки в карманы своих мятых, стального цвета дерюжных штанов и, вытянув ноги, забросил их на койку. Карлу пришлось потесниться к стене.

— Вы уходите с корабля?

— Так точно, сегодня отчаливаю.

— Но почему? Вам что, не нравится здесь?

— В том-то и штука, что нашего брата не больно спрашивают, нравится ему или нет. Хотя вообще-то вы правы, да, мне здесь не нравится. Вы, конечно, не всерьез в кочегары надумали, но учтите, именно так проще всего в кочегары и угодить. Только я вам решительно не советую. Коли вы в Европе хотели учиться — почему бы здесь вам не хотеть того же. Американские университеты даже куда лучше.

— Так-то оно так, — согласился Карл. — Но на это деньги нужны, а у меня их считай что нет. Правда, у кого-то я читал, что днем он работал, а ночами учился, пока не стал доктором наук и, кажется, даже бургомистром. Но ведь это какое терпение нужно, верно? А у меня, боюсь, терпения не хватит. Да и учился я не особенно хорошо и, честно сказать, не очень-то горевал, когда пришлось школу бросить. А здесь, наверно, в школах еще строже. И английского я почти не знаю. К тому же иностранцев тут, по-моему, не слишком-то жалуют.

— А, вы тоже, значит, это заметили? Ну тогда все в порядке. Тогда вы свой человек. Сами посудите, ведь мы на немецком корабле, компания «Гамбург — Америка», почему же, спрашивается, здесь работают не одни только немцы? Почему главный механик — румын? Шубаль его фамилия. Это же неслыханно. Нами, немцами, на немецком корабле помыкает эта

скотина! Вы не подумайте, — тут у него от возмущения даже дыхание перехватило, и он замахал руками, — не подумайте, что я вас разжалобить хочу. Я же вижу, вы не бог весть какая птица и сами паренек небогатый. Но уж больно все это мерзко! — С этими словами он несколько раз пристукнул кулаком по столу, не спуская глаз с точки, по которой бил. — Ведь я на стольких кораблях служил! — Тут он одним духом выпалил подряд названий двадцать, Карл совсем запутался. — И отлично служил, меня хвалили, я был честный работник моих капитанов, а на торговом паруснике я даже несколько лет проходил, — тут он привстал, словно торговый парусник был вершиной его жизни, — а здесь, в этом гробу, где все по струночке, где и пошутить нельзя, — здесь я, выходит, ни на что не гожусь, только болтаюсь у Шубаля под ногами, здесь я лодырь, которого давно пора выгнать, а жалованье получаю только из милости. Вы можете это понять? Я — нет.

— Вы не должны этого так оставлять, — сказал Карл взволнованно. Он почти забыл, где находится: шаткий пол корабля, незнакомый континент за бортом — все куда-то ушло, так уютно было ему на койке у кочегара. — А у капитана вы были? У него искали защиты?

— Эх, шли бы вы, шли бы вы лучше! Зачем вы мне здесь? Не слушаете, что вам говорят, а еще лезете с советами! Ну как, как я пойду к капитану?

И кочегар снова как-то обреченно сел, спрятав лицо в ладонях.

«Лучшего совета я ему дать не могу», — подумал Карл. И вообще, решил он, куда умнее, пока не поздно, сходить за чемоданом, чем давать здесь советы, которые вдобавок считают дурацкими. Когда отец на прощанье вручил ему чемодан, он как бы в шутку заметил: «Долго ли он у тебя проживет?..» — и теперь вот действительно этот чемодан, верный его попутчик, кажется, уже не в шутку, а по-настоящему потерян. Тут, пожалуй, только одно утешение — что отец ничего о пропаже не узнает, как не узнает и о нем самом, даже если вздумает наводить справки. До Нью-Йорка добрался — вот и все, что ему в корабельной компании сообщат. Жаль только, что были в чемодане и почти неношенные вещи, хотя ему, к примеру, давно бы пора сменить рубашку. Выходит, он проявил бережливость не там, где надо; именно сейчас, на пороге самостоятельной жизни, когда просто необходимо опрятно выглядеть, он будет щеголять в грязной рубашке. Хорошее начало, нечего сказать! Если бы не это, потерю вполне можно пережить, костюм на нем даже лучше, чем тот, что в чемодане, тот костюм вообще на черный день, мама перед самым отъездом срочно его штопала. Однако тут он вспомнил, что в чемодане осталась еще палка копченой колбасы, веронская салями, мама в последнюю минуту успела ему эту колбасу тайком сунуть, он

и отрезал-то всего ничего, есть почему-то всю дорогу не хотелось, и супа, что раздавали на полупалубе, ему хватало за глаза. Но теперь колбаса была бы очень даже кстати, он подарил бы ее кочегару. Таких людей легко расположить, подсунув им любую мелочь. Карл хорошо это знал по отцу, тот всех низших чинов, с которыми приходилось иметь дело, задабривал сигаретами. Теперь же из того, что можно подарить, у Карла остались только деньги, но деньги он пока что — тем более раз уж он и чемодана вроде бы лишился — трогать не будет.

Мысли его снова вернулись к чемодану, и теперь он и вправду не мог уразуметь, чего ради всю дорогу за этот чемодан тряся, почти не спал из-за него, если потом так вот запросто отдал его в чужие руки. Он вспомнил, как пять ночей подряд глаз не смыкал, а все из-за маленького словака, который спал через две койки слева, — Карл наверное знал, что тот на его чемодан зарится. Казалось, он только и ждет, когда Карл, сморенный усталостью, на секунду задремлет, чтобы длинной тростью — он день-деньской с этой тростью то ли играл, то ли упражнялся — перетянуть чемодан к себе. Днем-то этот словак выглядел вполне безобидно, но с наступлением ночи он то и дело приподнимался с койки и грустно так поглядывал на чемодан. Карлу-то все было видно, благо то тут, то там кто-то из пассажиров, снедаемый страхом неизвестности, зажигал свечу, хоть это и строжайше запрещено корабельным распорядком, и с тревогой вчитывался в загадочные проспекты американских агентств по приему эмигрантов. Если свечка горела поблизости, Карл мог ненадолго прикорнуть, если же свет был далеко или его вообще не было, приходилось смотреть в оба. Вся эта нервотрепка основательно его измотала. А теперь, кажется, эти мучения еще и зазря. Ну уж этот Буттербаум, попадется он ему когда-нибудь! В этот миг откуда-то издали неизбежную прежде тишину разорвал странный, размеренный стук — точно от множества детских ног, однако стук приближался, нарастал и вскоре превратился в дробный и тяжелый мужской топот. Очевидно, люди шли гуськом, что, пожалуй, в узком коридоре только естественно, но теперь к их топоту добавился лязг, похожий на бряцание оружия. Карл, блаженно растянувшийся на койке, чуть было не погрузился в глубокий сон, готовый позабыть и словака, и чемодан, и все на свете, но сейчас встрепенулся и даже успел слегка подтолкнуть кочегара — тот, казалось, не слышит грозного шествия, которое тем временем почти достигло их двери.

— Корабельный оркестр, — пояснил тот. — Играли наверху, теперь идут укладываться. Значит, и нам пора. Пойдемте.

Он подхватил Карла под руку, в последнюю минуту снял со стены над

койкой образок Богоматери, захихнул его в нагрудный карман, схватил чемодан и вместе с Карлом решительно вышел из каюты.

— А теперь я пойду в кают-компанию и выложу этим господам все, что я о них думаю. Пассажиров нет, церемониться нечего. — На все лады повторяя на ходу последние слова, он попытался придавить ногой перебежавшую им дорогу крысу, но только слегка задел и, по сути, подтолкнул ее в нору, до которой та вовремя успела добраться. Он вообще был неповоротлив на своих хоть и длинных, но каких-то тяжелых, непослушных ногах.

Они прошли через отсек, где была кухня: несколько девушек в грязных передниках — они нарочно их намочили — в большом чане мыли посуду. Одну из них, некую Лину, кочегар позвал и, обхватив чуть ниже талии — она в ответ игриво прижалась к его плечу, — попытался увести с собой.

— Там жалованье дают, пойдешь? — спросил он.

— Вот еще, стану я утруждаться. Лучше ты мне сам принеси, — ответила та, выскользнула у него из-под руки и убежала. — Где это ты подхватил такого красавчика? — крикнула она на бегу и, не дожидаясь ответа, скрылась на кухне. Было слышно, как все девушки, видимо на время прервавшие работу, дружно рассмеялись.

Они же с кочегаром пошли дальше и вскоре уперлись в массивную дверь с изящным фронтоном, который поддерживали миниатюрные позолоченные кариатиды. Для корабельной оснастки все это выглядело весьма расточительно. Карл, как он успел заметить, в этой части судна за время поездки ни разу не был: вероятно, она предназначалась лишь для пассажиров первого и второго классов, но сейчас, перед генеральной уборкой, видимо, двери были настежь и ограничения сняты. Им и точно уже попались навстречу несколько матросов со швабрами через плечо, они поздоровались с кочегаром. Карл дивился размаху работ и обилию помещений — у себя на полупалубе он, разумеется, не много успел увидеть. По стенам коридоров змейками тянулись электрические провода, а где-то вдали то и дело позвякивал небольшой колокол.

Кочегар, подобравшись и приосанившись, постучал в дверь и, когда оттуда послышалось «Войдите!», жестом пригласил Карла: мол, смелее. И Карл вошел, но на пороге невольно остановился. Разом из трех огромных окон на него ласково плеснули волны моря, и от их веселого, беззаботного бега у него сильнее забилось сердце, будто и не было пяти долгих, нескончаемых дней, когда он только и видел что море да море кругом. Большущие корабли уверенно бороздили воды залива, ровно настолько поддаваясь кач-

ке, насколько им позволяла их солидная стать. Если прищуриться, вообще казалось, что покачиваются они только от собственной тяжести. На их мачтах, туго натянутые встречным ветром, но иногда опадая, трепетали узкие длинные флаги. Откуда-то издали, должно быть с военного корабля, раздавались залпы салюта, а один из таких кораблей как раз проплывал неподалеку, сверкая на солнце сталью расчехленных орудий, дула которых, казалось, до блеска отполированы ветрами хоть и бурных, но победоносных странствий. Мелкие катера и лодки, различные — по крайней мере отсюда, с порога, — лишь вдалеке, во множестве сновали между большими судами. А за всем этим, еще дальше, вздымался Нью-Йорк, глядя на Карла всей сотней тысяч глазниц своих небоскребов. Да, в этом зале нельзя было не почувствовать, где находишься.

В центре за круглым столом сидели три господина: один — корабельный офицер в голубой морской форме, двое других — портовые чиновники в черных американских мундирах. На столе перед ними стопками лежали всевозможные документы, офицер, держа наготове авторучку, сперва пробегал их глазами, чтобы уж потом передать чиновникам, которые их то прочитывали, то делали выписки, то откладывали в свои папки, а время от времени один из них, тот, что почти непрерывно прищипывал зубом, что-то диктовал другому в протокол.

За письменным столом у окна спиной к дверям сидел низенький плотный господин и рылся в толстенных гроссбухах, поочередно снимая их с массивной полки над столом, где они в строгом порядке были расставлены. Около него стоял раскрытый и, по крайней мере на первый взгляд, пустой сейф корабельной кассы.

Возле второго окна никого не было, из него-то и открывался самый красивый вид. Зато у третьего негромко беседовали два господина. Один, тоже в корабельной форме, прислонился к стене и поигрывал рукояткой шпаги. Его собеседник, стоя лицом к окну, что-то рассказывал, время от времени наклоняясь вперед и открывая часть орденов на груди офицера. Он был в штатском, с изящной бамбуковой тросточкой, которая, поскольку он держал руки на поясе, тоже оттопыривалась, как шпага.

Впрочем, у Карла было не слишком много времени все как следует разглядеть, ибо вскоре к ним подошел слуга и, глядя на кочегара невидящим взглядом, спросил, что ему тут понадобилось. Кочегар так же тихо, как его спросили, ответил, что хотел бы поговорить с господином главным кассиром. Слуга со своей стороны пренебрежительным жестом эту просьбу отклонил, но все же — на цыпочках, далеко огибая стороной круглый стол, —

направился к господину с гроссбухами. Было очень хорошо видно, как после слов слуги тот сперва буквально застыл, потом, как бы не веря себе, обернулся на человека, осмелившегося его побеспокоить, сердито замахал руками на кочегара, а заодно, для пущей ясности, и на слугу. После чего слуга, вернувшись к кочегару, тихим, доверительным голосом сообщил:

— Немедленно убирайтесь вон!

Услышав такой ответ, кочегар только безмолвно глянул на Карла, одним этим взглядом поведав ему все невзгоды, обиды и страдания своей бессловесной души. Карл не стал долго раздумывать — сорвался с места, напрямик бросился через зал, даже слегка задев по пути кресло офицера, слуга, растопырив руки и пригнувшись, кинулся за ним, словно пытаясь изловить вредное насекомое, но Карл первым успел к столу главного кассира и крепко ухватился за край на тот случай, если слуга вздумает его оттащить.

Вокруг, разумеется, возникло легкое замешательство. Офицер от неожиданности вскочил, портовые чиновники смотрели на Карла спокойно, но с вниманием, два господина у окна придвинулись друг к другу поближе, а слуга, полагая очевидно, что там, где уже проявили интерес господина, его вмешательство неуместно, наоборот, почтительно отступил назад. Кочегар у дверей напряженно замер, ожидая, когда понадобится его помощь. Наконец и главный кассир тоже соизволил повернуться в своем кресле. Порывшись в потайном кармане — перед этими господами он не боялся его обнаружить, — Карл вытащил свой заграничный паспорт и вместо дальнейших представлений в раскрытом виде положил на стол. Главный кассир, похоже, не придавал документу особого значения и небрежным щелчком двух пальцев отшвырнул его в сторону, после чего Карл, посчитав, что все необходимые формальности таким образом соблюдены, спрятал паспорт обратно.

— Позволю себе заметить, — начал он, — что по отношению к господину кочегару, на мой взгляд, допущена несправедливость. Тут есть некто Шубаль, который над ним издевается. А он между тем служил на многих кораблях, если надо, он сам их все перечислит, и служил безупречно, прилежен, трудолюбив, честно выполняет свою работу, и совершенно непонятно, почему именно на вашем корабле, где служба вовсе не так тяжела, как, допустим, на торговых парусниках, он вдруг оказался непригоден. Полагаю, всему причиной только клевета и наветы, которые препятствуют его продвижению по службе и лишают его признания, которым в противном случае он давно бы уже пользовался. Я изложил суть дела в самых общих чертах, а конкретные претензии и жалобы он вам выскажет сам.

Карл обратился с этой своей речью ко всем сразу, поскольку, во-пер-

вых, его и в самом деле все слушали, а, во-вторых, найти справедливого среди многих казалось ему куда более вероятно, чем предположить этого справедливого именно в лице главного кассира. Карл к тому же схитрил, умолчав о том, что знает кочегара совсем недавно. А вообще-то он, наверно, говорил бы еще лучше, если бы не красноватая физиономия того господина с тросточкой, — этот господин, которого он только сейчас увидел в лицо, как-то сбивал его с толку.

— Все правда, точка в точку! — громогласно заявил кочегар, хотя его никто ни о чем не спросил и даже не взглянул в его сторону.

Эта поспешность могла бы ему дорого обойтись, если бы господин в орденах — Карла только сейчас осенило, что это и есть капитан, — уже не принял для себя решение все равно кочегара выслушать. Он вытянул руку и властным, твердым голосом, которым, казалось, впору монеты чеканить, произнес:

— Подойдите сюда!

Теперь все зависело только от самого кочегара, а уж в правоте его дела Карл не сомневался ничуть.

Кочегар, по счастью, сразу показал себя в подобных вещах человеком бывалым. Сохраняя образцовое спокойствие, он деловито, одним точным движением выхватил из чемодана связку бумаг и записную книжку в придачу, после чего, разом перестав замечать главного кассира, как ни в чем не бывало направился со всем этим прямым к капитану. Пришлось главному кассиру встать и податься туда же.

— Это же известный скандалист, — пояснил он усталым голосом. — У кассы его куда легче найти, чем в машинном отделении. Послушайте, вы! — напустился он на кочегара. — Вам не кажется, что в своей назойливости вы слишком далеко заходите! Сколько уже раз вас выпроваживали из бухгалтерии, чего вы своими вздорными и абсолютно необоснованными претензиями вполне заслужили? Сколько раз вы бегали оттуда жаловаться в главную кассу? Сколько раз вам по-хорошему объясняли, что ваш непосредственный начальник — Шубаль и вы как подчиненный обязаны иметь дело только с ним? Так нет же, теперь вы еще сюда заявились, и как раз в то время, когда здесь господин капитан, вы даже его не стыдитесь обременять вашими идиотскими дрызгами, нет, у вас еще хватило наглости подучить и привести сюда в качестве ходатая по вашим мерзким делишкам этого юнца, которого я вообще в первый раз на корабле вижу.

С превеликим трудом Карл заставил себя сдержаться. Но капитан и так уже прервал главного кассира, сказав:

— Давайте все же выслушаем человека, раз такое дело. Этот Шубаль, сдается мне, что-то и впрямь стал своевольничать, что, впрочем, еще нисколько не говорит в вашу пользу.

Последнее относилось к кочегару и, разумеется, было только естественно — не станет же капитан с ходу за него вступаться, — однако пока все шло наилучшим образом. Кочегар приступил к объяснениям и с самого начала сумел пересилить себя, вежливо назвав Шубаля господином. Как переживал, как радовался за него Карл в эту минуту, стоя, всеми забытый, у стола главного кассира и от полноты удовольствия поигрывая чашечками почтовых весов! Господин Шубаль несправедлив. Господин Шубаль отдаст предпочтение иностранцам. Господин Шубаль выставил его из машинного отделения и послал чистить гальюны, что уж в обязанности кочегара никак не входит. Была подвергнута сомнению даже исполнительность господина Шубаля, скорее показная, чем «всамоделишная». В этом месте Карл посмотрел на капитана особенно внушительно и со значением, как на равного себе, лишь бы тот не истолковал неловкое, простецкое выражение кочегара к его невыгоде. К тому же из всех этих пространных речей трудно было уяснить что-либо по существу, и если капитан, в чьем взоре читалась твердая решимость на сей раз выслушать кочегара до конца, все еще смотрел прямо перед собой, то остальные господа стали проявлять нетерпение и рассеянность, так что вскоре голос кочегара уже не господствовал в зале безраздельно, а это был плохой знак. Первым зашевелился господин в штатском — негромко, но внятно начал постукивать тросточкой по паркету. Остальные, разумеется, уже искоса на него поглядывали, портовые чиновники — время их явно поджимало — снова, пока, правда, еще как бы с отсутствующими лицами, зашуршали бумагами; офицер, понятное дело, тут же придвинулся к столу, а главный кассир, уже не сомневаясь в своей победе, с притворной иронией испускал глубокие вздохи. Только слугу, кажется, не затронул этот холодок всеобщего равнодушия, он один какой-то частицей души еще сочувствовал невзгодам бедного человека, столь беззащитного среди этих важных господ, и, глядя на Карла, серьезно кивал, будто и сам хотел что-то объяснить.

За окнами между тем шла своим чередом хлопотливая портовая жизнь: длинный плоский грузовой корабль, груженный горой бочек, уложенных, очевидно, с величайшим искусством — ни одна не перекатывалась, — тяжело прополз мимо и на миг погрузил все помещение в полумрак; юркие моторки — Карл, будь у него побольше времени, с удовольствием бы как следует их разглядел, — послушные малейшему движению рулевого, твердо

стоящего у штурвала, закладывали крутые виражи и стрелой неслись дальше; странные плавучие предметы, должно быть буи, то тут, то там как бы сами собой всплывали над беспокойными водами и, захлестнутые новой волной, мгновенно скрывались от изумленного взора; шлюпки с океанских лайнеров, повинуясь дружным и спорым усилиям налегающих на весла матросов, спешили к причалу, полные пассажиров, которые смиренно и настороженно сидели на скамейках, стиснутые как сельди в бочке, боясь пошевелиться, и лишь немногие смельчаки, не в силах удержаться при виде переменившихся портовых декораций, с любопытством вертели головами по сторонам. И всюду движение, движение без конца, и вечное беспокойство, передавшееся от всемогущей стихии бессильным людям и творениям их неугомонных рук!

Ситуация, однако, требовала быстроты, четкости, неукоснительной ясности изложения — а что вместо этого делал кочегар? Говорил он, правда, много и с пеной у рта, но бумаги с подоконника давно уже не держались в его трясущихся руках, со всех сторон метал он в Шубаля громы и молнии, и каждого из этих обвинений по отдельности было, на его взгляд, вполне достаточно, чтобы похоронить этого Шубаля раз и навсегда, — однако, нагроможденные перед капитаном скопом, они являли собой лишь плачевную и совершенно невнятную мешанину. Давно уже что-то негромко насвистывал, поглядывая в потолок, господин с тросточкой, портовые чиновники снова взяли в оборот корабельного офицера и, казалось, уже никогда его не отпустят, а главного кассира так и подмывало вмешаться и сдерживало лишь каменное спокойствие капитана. Слуга в почтительной готовности не сводил с капитана глаз, с секунды на секунду ожидая приказа выставить кочегара вон.

Нет, бездействовать дольше нельзя. И Карл медленно направился к группе, тем лихорадочнее прикидывая на ходу, как бы половчее повернуть все дело. И вовремя, очень вовремя! Еще чуть-чуть — и они с кочегаром в два счета отсюда бы вылетели. Пусть капитан и неплохой человек, к тому же именно сегодня, Карл чувствовал, по каким-то своим причинам он особенно расположен показать себя справедливым начальником, но не игрушка же он, в конце концов, чтобы вертеть им как вздумается, а именно так, увы, и обходился с ним кочегар, правда без злого умысла, а исключительно по простоте своей безмерно возмущенной души.

И Карл сказал кочегару:

— Вам надо проще все рассказать, яснее, господин капитан не в состоянии разобраться, когда вы так рассказываете. Разве обязан он знать по фа-

миллиам или, по давню, по именам и кличкам всех машинистов и младших матросов, которых вы тут подряд называете, как будто ему сразу ясно, о ком речь? Изложите ваши жалобы по порядку, начните с главных, а уж потом, по мере важности, переходите к менее существенным: возможно, большинство из них тогда и вовсе не понадобится упоминать. Мне-то вы всегда так складно излагали!

«Если в Америке можно красть чемоданы, то и приврать немного тоже не грех», — подумал он в оправдание себе.

Только бы помогло! Не слишком ли поздно? Кочегар, правда, едва за- слышав знакомый голос, тотчас же осекся, но его взгляд, затуманенный слезами попорченной мужской чести, прошлых жестоких обид, нынешней крайней безысходности, — взгляд его плохо узнавал Карла. Да и как ему, — молча глядя на него, тоже умолкшего, Карл только теперь это осознал, — как ему вдруг, ни с того ни с сего, обучиться иной, более складной речи, особенно сейчас, когда он только что — и без тени успеха — все, что можно было сказать, уже выложил, а, с другой стороны, получается, вроде бы ничего еще не сказал, и нет ни малейшей надежды убедить всех этих важных господ выслушать его еще раз. И вот в такую минуту еще и Карл, единственная его подмога, принимается учить его уму-разуму, только показывая тем самым, что все, все пропало.

«Надо бы раньше мне вмешаться, чем в окно глазеть!» — подумал Карл, низко склоняя голову под взглядом кочегара и уронив руки по швам в знак того, что надеяться больше не на что.

Но кочегар все истолковал иначе, возможно, в жесте Карла ему почудились какие-то скрытые упреки, и теперь в благом намерении их опровергнуть он увенчал свои деяния еще и тем, что принялся с Карлом спорить. Это теперь-то, когда чиновники и офицер за столом уже давно не скрывали возмущения ненужным шумом, который только мешает им в их важной работе, когда главный кассир мало-помалу стал находить долготерпение капитана необъяснимым и сам уже готов был вот-вот взорваться, когда слуга, снова всецело на стороне своих хозяев, испепелял кочегара негодующим взглядом, когда, наконец, господин с тросточкой, на которого сам капитан, как бы извиняясь, — кочегар его вконец допек, больше того, он ему опротивел, — дружелюбно поглядывал, так вот, этот господин извлек из кармана маленькую записную книжечку и, видимо занявшись каким-то своим делом, переводил глаза с книжечки на Карла и обратно.

— Да я знаю, знаю, — приговаривал Карл, стараясь, несмотря на спор, сохранить на лице дружескую улыбку и пробиться этой улыбкой сквозь об-

рушившийся на него поток слов. — Вы правы, правы, я-то никогда в этом не сомневался.

Будь его воля, он бы первым делом схватил и задержал эти безостановочно мелькающие руки, ибо уже всерьез опасался ненароком получить затрепину, еще лучше было бы просто затолкать кочегара в какой-нибудь угол, где их никто бы не услышал, и там шепнуть ему несколько тихих, успокоительных слов. Но куда там — кочегар рвал и метал. Понемногу Карл даже начал черпать нечто вроде надежды в странной, но утешительной мысли, что кочегар, быть может, сумеет убедить присутствующих одной только силой своего отчаяния. А кроме того, он успел заметить на одном из столов пульт управления с множеством кнопок — в случае чего одного нажатия ладони будет достаточно, чтобы в бесконечных коридорах этого корабля, переполненного чужими, враждебными людьми, поднялся невообразимый переполох.

Но тут господин с тросточкой, прежде столь ко всему безучастный, вдруг приблизился к Карлу и не слишком громко, но даже сквозь крик кочегара вполне отчетливо спросил:

— А вас, собственно, как зовут?

В ту же секунду, будто кто-то только и ждал этих слов, в дверь постучали. Слуга вопросительно посмотрел на капитана, тот кивнул. Лишь тогда слуга пошел к двери и распахнул ее. На пороге, в потертом армейском кителе, стоял человек среднего сложения, неприметной наружности, в которой ничто не выдавало ни особой склонности, ни причастности к машинам, и тем не менее это был — да, Шубаль. Если бы Карл тотчас не догадался об этом по выражению удовлетворенного злорадства в глазах всех присутствующих, — увы, даже капитана оно не обошло, — он все равно, к ужасу своему, понял бы это по виду кочегара: тот с такой яростью стиснул кулаки, что, казалось, нет для него сейчас ничего важнее этого неистового усилия, ради которого он готов пожертвовать всем на свете. Именно там, в кулачищах, сосредоточились все его силы, похоже, даже те, что вообще удерживали его на ногах.

Так вот он, значит, враг, самоуверенный и коварный, даже приодевшийся, с папкой под мышкой, там, наверно, платежные ведомости и табель кочегара, — стоит как ни в чем не бывало и с наглой беззастенчивостью заглядывает в глаза всем по очереди, чтобы первым делом уяснить, кто и как в данный момент к нему относится. Эти семеро, конечно, уже на его стороне, хоть у капитана и были, а может, только начинали появляться на его счет кое-какие сомнения, но теперь, после всего, что он от кочегара вытерпел,

капитан, похоже, ни малейших претензий к Шубалю не имеет. С такими, как кочегар, любой строгости мало, а Шубалья если в чем и можно упрекнуть, то лишь в одном — что так и не сумел обломать этого кочегара до конца и тот даже набрался наглости к нему, капитану, сегодня заявиться.

Оставалось, впрочем, надеяться, что контраст между кочегаром и Шубалем, своей разительностью достойный внимания и куда более высокого форума, не укроется и от присутствующих, ибо этот Шубаль хоть и мастак притворяться, но рано или поздно все равно не сдержится и чем-нибудь себя выдаст. Одной малюсенькой вспышки его подлости будет достаточно, а уж о том, чтобы господа ее заметили, Карл позаботится. Он ведь уже успел наскоро оценить слабости, причуды, меру проницательности каждого, и с этой точки зрения время, проведенное здесь, потрачено вовсе не зря. Если бы еще кочегар держался получше, но он, похоже, уже совсем не боец. Казалось, подведи, подай ему сейчас этого Шубалья — и он своими кулачищами расколет эту ненавистную черепушку как гнилой орех. Но вот сделать хотя бы шаг навстречу своему врагу он, видимо, уже вряд ли способен. И как это Карл не предусмотрел такую очевидную и легко предсказуемую вещь — рано или поздно, не по собственному почину, так по вызову капитана, Шубаль конечно же неминуемо должен был явиться! Почему по дороге сюда они с кочегаром не обсудили точный план боевых действий, вместо того, чтобы сдуру, на ура, без всякой выучки и подготовки ломиться в дверь, как они это сделали? В силах ли кочегар вообще говорить, хотя бы отвечать «да» или «нет», если это потребуется на перекрестном допросе, который — впрочем, лишь при самом благоприятном обороте дела — его еще ждет? Он и так еле стоит, ноги расставлены, в коленях дрожь, голова чуть запрокинута, а раскрытый рот с таким присвистом втягивает воздух, будто в груди у него вместо легких испорченный, дырявый насос.

Сам-то Карл ощущал в себе столько сил и такую ясность мыслей, как, пожалуй, никогда прежде — даже там, дома. Видели бы сейчас родители, как их сын в чужой стране перед этими важными лицами смело отстаивает добро, и пусть пока не довел дело до победы, но готов биться до последнего. Что бы они теперь о нем сказали? Похвалили бы, обласкали, усадили бы между собой? Взглянули бы хоть раз, один лишь разочек в его любящие, преданные глаза? Пустые вопросы, и самое неподходящее время о них гадать!

— Я пришел, поскольку полагаю, что кочегар обвинил меня в каких-то махинациях. Девушка с кухни сказала мне, что видела, как он сюда направляется. Господин капитан и вы все, господа, с записями в руках, а если по-

надобится, то и с помощью непредвзятых и беспристрастных свидетелей, которые ждут за дверью, я готов опровергнуть любые обвинения.

Так начал Шубаль. Во всяком случае, это была ясная, осмысленная человеческая речь, и по изменениям в лицах слушателей можно было подумать, что они впервые за долгое время снова слышат членораздельные звуки человеческого голоса. И не заметили, между прочим, что даже в этой распрекрасной речи имеются прорехи! Почему, едва приступив к сути дела, Шубаль сам, первым, заговорил о «махинациях»? Может, именно на этом, а вовсе не на его национальных предрассудках стоило сосредоточить обвинение? Девушка с кухни видела, как кочегар сюда направляется, а Шубаль так сразу и смекнул, что к чему? Что же еще, как не боязнь разоблачения, так обострило его чутье? И свидетелей сразу притащил, да еще не постеснялся назвать их «непредвзятыми и беспристрастными!» Надувательство, чистейшей воды надувательство, а господа все это терпят и даже считают, видимо, приличным поведением! Зачем, спрашивается, Шубаль упустил так много времени от разговора с девушкой до своего прихода сюда? Да с одной только подлой целью — дождаться, покуда кочегар настолько утомит слушателей, что те утратят способность рассуждать здраво, а именно здравых рассуждений Шубаль и опасается больше всего! Разве не стоял он сперва — и наверняка долго стоял — под дверью, разве не постучался лишь в ту минуту, когда услышал посторонний вопрос того господина и понадеялся, что с кочегаром покончено?

Тут все ясней ясного, и Шубаль, сам того не желая, это только подтвердил, но господам, видимо, надо растолковать это иначе, нагляднее. Надо их встряхнуть хорошенько. Ну же, Карл, живей, непусти хотя бы эту минуту, пока не ввалились свидетели и не нагородили бог весть чего.

Но капитан взмахом руки остановил Шубаля — тот, мигом смекнув, что с его делом решили повременить, тут же отступил в сторонку и завел тихую, но оживленную беседу с немедленно примкнувшим к нему слугой, в ходе коей беседы не обошлось без косых взглядов в сторону Карла и кочегара, равно как и без самой недвусмысленной жестикуляции. Похоже, Шубаль репетировал свою следующую, теперь уже большую речь.

— Вы о чем-то хотели спросить молодого человека, не так ли, господин Якоб? — во всеобщей тишине обратился капитан к господину с тросточкой.

— Совершенно верно, — отозвался тот, с легким поклоном поблагодарив за внимание. И снова спросил у Карла: — Как все-таки вас зовут?

Карл, полагая, что в интересах главного дела лучше уж поскорее отвязаться от этого настырного господина с его вопросами, ответил коротко, не

предъявляя, вопреки своему обыкновению, паспорта, за которым еще надо было лезть:

— Карл Росман.

— Позвольте, — вымолвил тот, кого величали господином Якобом, и со слабой улыбкой, как бы не веря себе, слегка попятился. Станным образом и капитана, и главного кассира, и даже слугу имя Карла повергло в крайнее изумление. Лишь портовые чиновники и Шубаль не выказали по этому поводу никаких чувств.

— Позвольте, — повторил этот господин Якоб и медленным, как бы даже торжественным шагом направился к Карлу. — Но тогда, выходит, я твой дядя Якоб, а ты, значит, мой дорогой племянник! Я так и чувствовал, что это он! — сказал он капитану, прежде чем обнять и расцеловать Карла, который оторопело ему это позволил.

— А вас как зовут? — спросил Карл, когда его выпустили из объятий, спросил хоть и очень вежливо, но как-то отрешенно, сияясь предугадать, какими последствиями это новое событие может обернуться для кочегара. Пока что непохоже, чтобы Шубаль на этом что-то мог выгадать.

— Да вы поймите, молодой человек, свое счастье! — воскликнул капитан, посчитав вероятно, что вопрос Карла каким-то образом задевает достоинство такой важной особы, как господин Якоб, который тем временем отошел к окну и отвернулся, дабы не показывать остальным свое взволнованное лицо и вдобавок осушая его носовым платком. — Это же сенатор Эдвард Якоб, он согласился признать себя вашим дядей. Теперь вас ждет, полагаю, вопреки всем вашим прежним ожиданиям, самая блестящая карьера. Попробуйте же это осознать, насколько это вообще возможно в первые минуты, и соберитесь.

— Вообще-то у меня есть дядя в Америке, — сказал Карл, глядя на капитана. — Но, сколько я понял, Якоб — это ведь фамилия господина сенатора?

— Именно так, — подтвердил капитан, все еще не понимая, в чем дело.

— Ну вот, а моего дядю, брата моей матери, Якобом зовут по имени, а фамилия у него, конечно, должна быть та же, что у моей матери, урожденной Бендельмайер.

— Что, господа, каково! — воскликнул сенатор, бодро возвращаясь с места своей кратковременной передышки и, видимо, имея в виду заявление Карла.

Все, исключая портовых чиновников, дружно рассмеялись — одни с умилением, другие как-то неопределенно.

«Ничего такого особенно смешного я вроде бы не сказал», — подумал Карл.

— Господа! — вновь воскликнул сенатор. — Против воли — и моей, и вашей — вы стали соучастниками небольшой семейной сцены, а посему считаю своим долгом дать вам необходимые разъяснения, поскольку, как я понимаю, лишь господин капитан — упоминание о капитане имело следствием взаимный поклон — осведомлен о деле полностью.

«Теперь надо и впрямь следить за каждым словом», — сказал себе Карл и несколько приободрился, краем глаза успев заметить, что кочегар начинает подавать слабые признаки жизни.

— Долгие годы моего пребывания в Америке, — впрочем, слово «пребывание» не слишком подходит американскому гражданину, а я всей душой американский гражданин, — так вот, все эти долгие годы я живу совершенно обособленно от моей европейской родни, по причинам, которые, во-первых, к делу не относятся, а во-вторых, рассказ о них увел бы нас слишком далеко. Я даже слегка побаиваюсь той минуты, когда вынужден буду поведать о них моему дорогому племяннику, и уж тогда, к сожалению, нам не избежать разговора начистоту и о его родителях, и об остальных сородичах.

«Да, несомненно, это мой дядя, — подумал Карл и стал слушать еще внимательней. — Должно быть, он изменил фамилию».

— Родители моего дорогого племянника, — давайте назовем вещи своими именами, — попросту решили от него избавиться, как избавляются от надоевшей кошки, вышвыривая ее за дверь. Этим я вовсе не хочу приукрасить поступок моего племянника, за который он был так жестоко наказан, — приукрашивать вообще не в обычаях американцев, — однако провинность его такого свойства, что одно лишь ее название содержит в себе достаточно поводов и причин ее простить.

«Говорит он, конечно, складно, — подумал Карл, — но я не хочу, чтобы он всем это рассказывал. Да и не может он всего знать. Как, откуда? Но погоди, вот посмотришь, он все знает лучше всех».

— Просто-напросто, — продолжал дядя, опершись на бамбуковую трость и слегка покачиваясь взад-вперед, чем ему и впрямь удалось лишить свой рассказ чрезмерной напыщенности, которая в противном случае была бы неизбежна, — просто-напросто его соблазнила служанка, Иоганна Бруммер, особа лет тридцати пяти. Говоря «соблазнила», я вовсе не хочу оскорбить чувства моего племянника, но, право же, более подходящее слово я просто затрудняюсь подобрать.

Карл, уже довольно близко подошедший к дяде, в этом месте его рас-

сказа резко обернулся, чтобы видеть лица присутствующих. Нет, никто не смеется, все слушают терпеливо и серьезно. Да и нельзя, в самом деле, смеяться над племянником сенатора при первом удобном случае. Скорее уж, пожалуй, кочегар, но и тот едва заметно улыбается Карлу, что, во-первых, отрадно само по себе как еще один признак жизни, а во-вторых, вполне простительно, поскольку в разговоре с ним Карл пытался покрыть эту историю завесой тайны, а теперь вот она оглашена во всеуслышание.

— Так вот, эта самая Бруммер, — продолжил дядя, — забеременела от моего племянника и родила превосходного мальчика, окрестив его Якобом, несомненно, в честь вашего покорного слуги, который — даже по упоминаниям моего племянника, наверняка случайным и несущественным, — произвел на девушку большое впечатление. Добавлю от себя — по счастью. Ибо родители моего племянника во избежание уплаты алиментов и, видимо, прочих грозивших им скандальных неприятностей, — придется подчеркнуть, что мне не слишком известны как тамошние законы, так и особые семейные обстоятельства, помню только два давних нищенских письма от родителей мальчика, которые я хоть и оставил без ответа, но все время хранил, чем, кстати говоря, и исчерпывается вся наша, к тому же односторонняя, переписка за все эти годы, — итак, поскольку родители во избежание уплаты алиментов и скандала попросту посадили своего сына, моего дорогого племянника, на корабль и отправили в Америку, снарядив его, как нетрудно заметить, для такого путешествия непростительно безответственно и скудно, то мальчик, брошенный на произвол судьбы, полагаю, затерялся бы и погиб в первом же портовом переулке Нью-Йорка, если бы не чудеса и счастливые совпадения, возможные только в Америке, и больше нигде, и если бы не та служанка, ибо она в отправленном на мое имя письме, которое после долгих блужданий лишь вчера попало в мои руки, поведала всю историю, подробно указав в конце приметы моего племянника, а также — что было весьма предусмотрительно — и название корабля. Если бы мне вздумалось поразвлечь вас, господа, я не преминул бы зачитать избранные отрывки из этого послания. — Тут он вынул из кармана два огромных, убористо исписанных листа и помахал ими в воздухе. — Оно, несомненно, возымело бы успех, ибо написано с простоватой, но подкупающей хитростью и исполнено неподдельной любви к отцу ее ребенка. Но я не хочу ни развлекать вас дольше, чем это надобно для необходимого разъяснения, ни тем паче, особенно в первые минуты встречи, бередить, возможно, еще не угасшие чувства моего племянника — он, если пожелает, сможет в назидание себе прочесть это письмо в тиши своей комнаты, которая его уже ждет.

Но у Карла не было никаких таких чувств к этой служанке. В суете и сумятице уходящих в безвозвратное прошлое дней она так и осталась где-то там, на кухне, где она сидела возле буфета, локтями опершись на его нижнюю тумбу. Она смотрела на Карла, когда он изредка заходил на кухню — отнести отцу стакан воды или по каким-то маминым поручениям. Иногда, примостившись в неловкой позе все у того же буфета, она сочиняла письмо и, поглядывая на Карла, казалось, черпает вдохновение в его лице. А часто просто сидела, прикрыв глаза рукой, и тогда обращаться к ней было совершенно бесполезно. Бывало, Карл мимоходом и не без испуга замечал в приоткрытую дверь, как она молится в своей каморке, стоя на коленях перед деревянным распятием. В иные же дни она металась по кухне, как ведьма, и с жутким смехом отскакивала, если Карл попадался ей на дороге. Или вдруг, стоило Карлу зайти на кухню, закрывала дверь и, прислонившись к ней спиной, до тех пор держала ручку, покуда Карл сам не потребует его пропустить. Порой зачем-то приносила Карлу какие-то безделушки, совершенно ему не нужные, и молча совала в руку. Но однажды она вдруг сказала: «Карл!» — и со странными вздохами и ужимками повела его, все еще изумленного столь неожиданным обращением, в свою каморку, дверь которой тут же заперла. Там она обхватила его за шею и стала душить в объятиях, зачем-то упрасывая Карла ее раздевать и при этом раздевая его, потом уложила в свою постель, словно решив отныне никому его не отдавать и нежить и лелеять его до скончания века. «Карл, о мой Карл!» — восклицала она, будто видит его впервые в жизни и хочет навсегда оставить в своем владении, в то время как он ровным счетом ничего не видел, ему было жарко и тесно под кучей подушек и одеял, которую она, похоже, заранее приготовила и теперь на него навалила. Потом она сама легла к нему и все допытывалась о каких-то тайнах, а он ничего не мог ей на это ответить, и она сердилась на него не то в шутку, не то всерьез, тормозила его, слушала его сердце, предлагала послушать свое, пытаясь притянуть его голову к своей груди, но Карл так и не дал ей этого сделать, прижималась к его телу голым животом и до того отвратительно шарил у него между ногами, что Карл уже почти было выбрался из-под подушек, но тут она несколько раз как-то по-особенному ткнулась в него животом. Карл вдруг ощутил, что она как бы стала частью его самого, и, может, именно поэтому его охватило чувство тоскливой беспомощности. Наконец, после ее многочисленных и пылких просьб о новых встречах, Карл, весь в слезах, ушел спать к себе в комнату. Вот как все было, но дядя даже из этого сумел сочинить целую историю. А служанка, значит, все-таки тоже о нем помнит и известила дядю о его при-

езде. Что ж, очень трогательно с ее стороны, за это, если надо, Карл, пожалуйста, отблагодарил бы ее еще раз.

— А теперь, — воскликнул сенатор, — теперь я хочу, чтобы ты во всеуслышание заявил, дядя я тебе или не дядя?

— Ты мой дядя, — сказал Карл, целуя ему руку, за что был удостоен поцелуя в лоб. — И я очень рад, что тебя встретил, но ты заблуждаешься, если думаешь, будто мои родители говорили о тебе только плохое. Но и помимо этого были в твоём рассказе кое-какие ошибки, то есть, я хотел сказать, на деле не все обстояло так, как ты рассказываешь. Но отсюда, изда-лека, тебе и вправду трудно судить о наших делах, к тому же, я думаю, большой беды не будет, если господа с некоторыми неточностями узнают об истории, которая вряд ли их слишком волнует.

— Отлично сказано, — похвалил сенатор и, подведя Карла к капитану, который всем видом выказывал живейшее участие, спросил: — Ну разве не молодчина у меня племянник?

— Я счастлив, господин сенатор, познакомиться с вашим племянником, — ответил капитан с поклоном, на какой способны лишь люди военной выучки. — Для моего корабля это особая честь — стать местом столь знаменательной встречи. Вот только путешествие на полупалубе прошло, должно быть, весьма скверно, ну да разве угадаешь, где кого везешь. Мы однажды даже первенца какого-то знатного венгерского магната — фамилию вот только забыл, и почему так получилось, тоже не помню, — через весь океан на полупалубе везли. Я только потом, задним числом, об этом узнал. Правда, мы делаем все, чтобы по мере возможности облегчить людям путешествие на полупалубе, по крайней мере гораздо больше, чем, скажем, американские компании, но превратить подобную поездку в удовольствие пока что выше наших сил.

— Да ничего мне не сделалось, — успокоил его Карл.

— Ему ничего не сделалось, — громко повторил сенатор со смехом.

— Вот только чемодан, я боюсь... — И тут Карл, вспомнив обо всем, что случилось и что еще предстоит сделать, огляделся по сторонам и обнаружил, что все вокруг так до сих пор и стоят на своих прежних местах, онемев от изумления и почтительности и не сводя с него глаз. Лишь портовые чиновники, насколько можно было заключить по выражению их самодовольных, непроницаемых физиономий, видимо, сожалели о том, что пришли в столь неудачное время, — карманные часы, лежавшие перед ними на столе, были для них куда важнее всего, что произошло и еще, возможно, могло произойти в этом зале.

ПРОЦЕСС

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Арест. Разговор с фрау Грубах, потом с фройляйн Бюрстнер

Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К. немного подождал, поглядел с кровати на старуху, жившую напротив, — она смотрела на него из окна с каким-то необычным для нее любопытством — и потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошел какой-то человек. К. никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье — столько на нем было разных вытачек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик, — от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно.

— Вы кто такой? — спросил К. и приподнялся на кровати.

Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил:

— Вы звонили?

— Пусть Анна принесет мне завтрак, — сказал К. и стал молча разглядывать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он, в сущности, такой? Но тот не дал себя особенно рассматривать и, подойдя к двери, немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же, за порогом:

— Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак.

Из соседней комнаты послышался короткий смешок; по звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услышать ничего для себя нового, он заявил К. официальным тоном:

— Это не положено!

— Вот еще новости! — сказал К., соскочил с кровати и торопливо натянул брюки. — Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение.

Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли вслух, — выходило так, будто этими словами он в какой-то мере признаёт за незнакомцем право надзора; впрочем, сейчас это было неважно. Но, видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал:

— Может быть, вам лучше остаться тут?

— И не останусь, и разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой.

— Зря обижаетесь, — сказал незнакомец и сам открыл дверь.

В соседней комнате, куда К. прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденная мебелью, коврами, фарфором и фотографиями; пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна и сейчас, подняв глаза, сказал:

— Вам следовало остаться у себя в комнате! Разве Франц вам ничего не говорил?

— Да что вам, наконец, нужно? — спросил К., переводя взгляд с нового посетителя на того, кого называли Франц (он стоял в дверях), и снова на первого. В открытое окно видна была та старуха: в припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну — посмотреть, что будет дальше.

— Вот сейчас я спрошу фрау Грубах, — сказал К. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хотел вырваться у них из рук, и уже пошел было из комнаты.

— Нет, — сказал человек у окна, бросил книжку на столик и встал: — Вам нельзя уходить. Ведь вы арестованы.

— Похоже на то, — сказал К. и добавил: — А за что?

— Мы не уполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите. Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете. Я и так нарушаю свои полномочия, разговаривая с вами по-дружески. Но надеюсь, что, кроме Франца, никто нас не слышит, а он и сам вопреки всем предписаниям слишком любезен с вами. Если вам и дальше так повезет, как повезло с назначением стражи, то можете быть спокойны.

К. хотел было сесть, но увидел, что в комнате, кроме кресла у окна, сидеть не на чем.

— Вы еще поймете, какие это верные слова, — сказал Франц, и вдруг оба сразу подступили к нему.

Второй был много выше ростом, чем К. Он все похлопывал его по плечу. Они стали ощупывать ночную рубашку К., приговаривая, что теперь ему придется надеть рубаху куда хуже, но эту рубашку и все остальное его белье они приберегут и, если дело обернется в его пользу, ему все отдадут обратно.

— Лучше отдайте вещи нам, чем на склад, — говорили они. — На складе вещи подменяют, а кроме того, через некоторое время все вещи распродают — все равно, окончилось дело или нет. А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время! Конечно, склад вам в конце концов вернет стоимость вещей, но, во-первых, сама по себе сумма ничтожная, потому что при распродаже цену вещей назначают не по их стоимости, а за взятки, да и вырученные деньги тают, они ведь что ни год переходят из рук в руки.

Но К. даже не слушал, что ему говорят, ему неважно было, кто получит право распоряжаться его личными вещами, как будто еще принадлежавшими ему; гораздо важнее было уяснить свое положение; но в присутствии этих людей он даже думать как следует не мог: второй страж — кто же они были, как не стражи? — все время толкал его, как будто дружески, толстым животом, но, когда К. подымал глаза, он видел совершенно не соответствующее этому толстому туловищу худое, костлявое лицо с крупным, свернутым набок носом и перехватывал взгляд, которым этот человек обменивался через его голову со своим товарищем. Кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит мир, все законы незыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? Всегда он был склонен относиться ко всему чрезвычайно легко, признавался, что дело плохо, только когда действительно становилось очень плохо, и привык ничего не предпринимать заранее, даже если надвигалась угроза.

Но сейчас ему показалось, что это неправильно, хотя все происходящее можно было почесть и за шутку, грубую шутку, которую неизвестно почему — может быть, потому, что сегодня ему исполнилось тридцать лет? — решили с ним сыграть коллеги по банку. Да, конечно, это вполне вероятно; по-видимому, следовало бы просто рассмеяться в лицо этим стражам, и они рассмеялись бы вместе с ним; а может, это просто рассыльные, вполне похоже, но почему же тогда при первом взгляде на Франца он твердо решил

ни в чем не уступать этим людям? Меньше всего К. боялся, что его потом упрекнут в непонимании шуток, зато он отлично помнил — хотя обычно с прошлым опытом и не считался — некоторые случаи, сами по себе незначительные, когда он, в отличие от своих друзей, сознательно пренебрегал возможными последствиями и вел себя крайне необдуманно и неосторожно, за что и расплачивался полностью. Больше этого с ним повториться не должно, хотя бы теперь, а если это комедия, то он им подыграет. Но пока что он еще свободен.

— Позвольте, — сказал он и быстро прошел мимо них в свою комнату.

— Видно, разумный малый, — услышал он за спиной.

В комнате он тотчас же стал выдвигать ящики стола; там был образцовый порядок, но удостоверение личности, которое он искал, он от волнения никак найти не мог. Наконец он нашел удостоверение на велосипед и уже хотел идти с ним к стражам, но потом эта бумажка показалась ему неубедительной, и он снова стал искать, пока не нашел свою метрику.

Когда он возвратился в соседнюю комнату, дверь напротив отворилась и вышла фрау Грубах. Но, увидев К., она остановилась в дверях, явно смутившись, извинилась и очень осторожно прикрыла двери.

— Входите же! — только и успел сказать К.

Сам он так и остался стоять посреди комнаты с бумагами в руках, глядя на дверь, которая не открывалась, и только возглас стражей заставил его вздрогнуть, — они сидели за столиком у открытого окна, и К. увидел, что они поглощают его завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил он.

— Не разрешено, — сказал высокий. — Ведь вы арестованы.

— То есть как — арестован? Разве это так делается?

— Опять вы за свое, — сказал тот и обмакнул хлеб в баночку с медом. — Мы на такие вопросы не отвечаем.

— Придется ответить, — сказал К. — Вот мои документы, а вы предъявите свои, и первым делом — ордер на арест.

— Господи, твоя воля! — сказал высокий. — Почему вы никак не можете примириться со своим положением? Нет, вам непременно надо злить нас, и совершенно зря, ведь мы вам сейчас самые близкие люди на свете!

— Вот именно, — сказал Франц, — можете мне поверить. — И он посмотрел на К. долгим и, должно быть, многозначительным, но непонятным взглядом поверх чашки с кофе, которую держал в руке.

Сам того не желая, К. ответил Францу таким же выразительным взглядом, но тут же хлопнул по своим документам и сказал:

— Вот мои бумаги.

— Да какое нам до них дело! — крикнул высокий. — Право, вы ведете себя хуже ребенка. Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест? Мы низшие чины, мы и в документах почти ничего не смыслим, наше дело — стеречь вас ежедневно по десять часов и получать за это жалованье. К этому мы и приставлены, хотя, конечно, мы вполне можем понять, что высшие власти, которым мы подчиняемся, прежде чем отдать распоряжение об аресте, точно устанавливают и причину ареста, и личность арестованного. Тут ошибок не бывает. Наше ведомство — насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, — никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон. Где же тут могут быть ошибки?

— Не знаю я такого закона, — сказал К.

— Тем хуже для вас, — сказал высокий.

— Да он и существует только у вас в голове, — сказал К. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мысли стражей, изменить их в свою пользу или самому проникнуться этими мыслями. Но высокий только отрывисто сказал:

— Вы его почувствуете на себе.

Тут вмешался Франц:

— Вот видишь, Виллем, он признался, что не знает закона, а сам при этом утверждает, что невиновен.

— Ты совершенно прав, но ему ничего не объяснишь, — сказал тот.

К. больше не стал с ними разговаривать; неужели, подумал он, я дам сбить себя с толку болтовней этих низших чинов — они сами так себя называют. И говорят они о вещах, в которых совсем ничего не смыслят. А самоуверенность у них просто от глупости. Стоит мне обменяться хотя бы двумя-тремя словами с человеком моего круга, и все станет несравненно понятнее, чем длиннейшие разговоры с этими двумя. Он прошелся несколько раз по комнате, увидел, что старуха напротив уже притащила к окну еще более древнего старика и стоит с ним в обнимку. Надо было прекратить это зрелище.

— Проведите меня к вашему начальству, — сказал он.

— Не раньше, чем начальству будет угодно, — сказал страж, которого звали Виллем. — А теперь, — добавил он, — я вам советую пройти к себе в

комнату и спокойно дожидаться, что с вами решат сделать. И наш вам совет: не расходуйте силы на бесполезные рассуждения, лучше соберитесь с мыслями, потому что к вам предъявят большие требования. Вы отнеслись к нам не так, как мы заслужили своим обращением, вы забыли, что, кем бы мы ни были, мы, по крайней мере по сравнению с вами, люди свободные, а это немалое преимущество. Однако, если у вас есть деньги, мы готовы принести вам завтрак из кафе напротив.

К. немного постоял, но на это предложение ничего не ответил. Может быть, если он откроет дверь в соседнюю комнату или даже в прихожую, эти двое не посмеют его остановить; может быть, самое простое решение — пойти напролом? Но ведь они могут его схватить, а если он потерпит такое унижение, тогда пропадет его превосходство над ними, которое он в некотором отношении еще сохранил. Нет, лучше дождаться развязки — она должна прийти сама собой, в естественном ходе вещей; поэтому К. прошел к себе в комнату, не обменявшись больше со стражами ни единым словом.

Он бросился на кровать и взял с умывальника прекрасное яблоко — он припас его на завтрак еще с вечера. Другого завтрака у него сейчас не было, и, откусив большой кусок, он уверил себя, что это куда лучше, чем завтрак из грязного ночного кафе напротив, который он мог бы получить по милости своей стражи. Он чувствовал себя хорошо и уверенно; правда, он на полдня опаздывал в банк, где служил, но при той сравнительно высокой должности, какую он занимал, ему простят это опоздание. Не привести ли в оправдание истинную причину? Он так и решил сделать. Если же ему не поверят, чему он нисколько не удивится, то он сможет сослаться на фрау Грубах или на тех стариков напротив — сейчас они, наверно, уже переходят к другому своему окошку. К. был удивлен, вернее, он удивлялся, становясь на точку зрения стражи: как это они прогнали его в другую комнату и оставили одного там, где он мог десятком способов покончить с собой? Однако он тут же подумал, уже со своей точки зрения: какая же причина могла бы его на это толкнуть? Неужели то, что рядом сидят двое и поедают его завтрак? Покончить с собой было бы настолько бессмысленно, что при всем желании он не мог бы совершить такой бессмысленный поступок. И если бы умственная ограниченность этих стражей не была столь очевидна, то можно было бы предположить, что и они пришли к такому же выводу и поэтому не видят никакой опасности в том, что оставили его одного. Пусть бы теперь посмотрели, если им угодно, как он подходит к стенному шкафчику, где спрятан отличный коньяк, опрокидывает первую рюмку взамен завтрака, а потом и

вторую — для храбрости, на тот случай, если храбрость понадобится, что, впрочем, маловероятно.

Но тут он так испугался окрика из соседней комнаты, что зубы лязгнули о стекло.

— Вас вызывают к инспектору! — крикнули оттуда.

Его напугал именно крик, этот короткий, отрывистый солдатский окрик, какого он никак не ожидал от Франца. Сам же приказ его очень обрадовал.

— Наконец-то! — крикнул он, запер стеной шкафчик и побежал в гостиную. Но там его встретили оба стража и сразу, будто так было нужно, загнали обратно в его комнату.

— Вы с ума сошли! — крикнули они. — В рубахе идти к инспектору! Он и вас прикажет высечь, и нас тоже!

— Пустите меня, черт побери! — крикнул К., которого уже оттеснили к самому гардеробу. — Напали на человека в кровати, да еще ждут, что он будет во фраке!

— Ничего не поделаешь! — сказали оба; всякий раз, когда К. подымал крик, они становились не только совсем спокойными, но даже какими-то грустными, что очень сбивало его с толку, но отчасти и успокаивало.

— Смешные церемонии! — буркнул он, но сам уже снял пиджак со стула и подержал в руках, словно предоставляя стражам решать, подходит ли он.

Те покачали головой.

— Нужен черный сюртук, — сказали они.

К. бросил пиджак на пол и сказал, сам не зная, в каком смысле он это говорит:

— Но ведь дело сейчас не слушается?

Стражи ухмыльнулись, но упрямо повторили:

— Нужен черный сюртук.

— Что ж, если этим можно ускорить дело, я не возражаю, — сказал К., сам открыл шкаф, долго рылся в своей многочисленной одежде, выбрал лучшую черную пару — она сидела так ловко, что вызывала прямо-таки восхищение знакомых, — достал свежую рубашку и стал одеваться со всей тщательностью. Втайне он подумал, что больше задержек не будет — стража забыла даже заставить его принять ванну. Он следил за ними — а вдруг они все-таки вспомнят, но им, разумеется, и в голову это не пришло, хотя Виллем не забыл послать Франца к инспектору доложить, что К. уже одевается.

Когда он оделся окончательно, Виллем, идя за ним по пятам, провел его

через пустую гостиную в следующую комнату, куда уже широко распахнули двери. К. знал точно, что в этой комнате недавно поселилась некая фройляйн Бюрстнер, машинистка; она очень рано уходила на работу, поздно возвращалась домой, и К. только обменивался с ней обычными приветствиями. Теперь ее ночной столик был выдвинут для допроса на середину комнаты, и за ним сидел инспектор. Он скрестил ноги и закинул одну руку на спинку стула.

В углу комнаты стояли трое молодых людей — они разглядывали фотографии фройляйн Бюрстнер, воткнутые в плетеную циновку на стене. На ручке открытого окна висела белая блузка. В окно напротив уже высунулись те же старики, но зрителей там прибавилось: за их спинами возвышался огромный мужчина в раскрытой на груди рубахе, который все время крутил и вертел свою рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил инспектор, должно быть, только для того, чтобы обратить на себя рассеянный взгляд К.

К. наклонил голову.

— Должно быть, вас очень удивили события сегодняшнего утра? — спросил инспектор и обеими руками пододвинул к себе немногие вещи, лежавшие на столике, — свечу со спичками, книжку, подушечку для булавок, как будто эти предметы были ему необходимы при допросе.

— Конечно, — сказал К., и его охватило приятное чувство: наконец перед ним разумный человек, с которым можно поговорить о своих делах. — Конечно, я удивлен, но, впрочем, и не очень удивлен.

— Не очень? — переспросил инспектор и, передвинув свечу на середину столика, начал расставлять вокруг нее остальные вещи.

— Возможно, что вы не так меня поняли, — заторопился К. — Я только хотел сказать... — Тут он осекся и стал искать, куда бы ему сесть. — Мне можно сесть? — спросил он.

— Это не полагается, — ответил инспектор.

— Я только хотел сказать, — продолжал К. без задержки, — что я, конечно, очень удивлен, но когда проживешь тридцать лет на свете, да еще если пришлось самому пробиваться в жизни, как приходилось мне, то поневоле привыкаешь ко всяким неожиданностям и не принимаешь их слишком близко к сердцу. Особенно такие, как сегодня.

— Почему особенно такие, как сегодня?

— Нет, я не говорю, что все считаю шуткой, по-моему, для шутки это слишком далеко зашло. Очевидно, в этом принимали участие все обитатели

пансиона, да и все вы, а это уже переходит границы шутки. Так что не думаю, чтоб это была просто шутка.

— И правильно, — сказал инспектор и посмотрел, сколько спичек осталось в коробке.

— Но, с другой стороны, — продолжал К., обращаясь ко всем присутствующим — ему хотелось привлечь внимание и тех троих, рассматривающих фотографии, — с другой стороны, особого значения все это иметь не может. Вывожу я это из того, что меня в чем-то обвиняют, но ни малейшей вины я за собой не чувствую. Но и это не имеет значения, главный вопрос — кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Вы чиновники? Но на вас нет формы, если только ваш костюм, — тут он обратился к Францу, — не считать формой, но ведь это, скорее, дорожное платье. Вот в этом вопросе я требую ясности, и я уверен, что после выяснения мы все расстанемся друзьями.

Тут инспектор со стуком положил спичечный коробок на стол.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал он. — И эти господа, и я сам — все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Мы могли бы носить самую настоящую форму, и ваше дело от этого ничуть не ухудшилось бы. Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, вернее, мне об этом ничего не известно. Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю. Может быть, вам стража чего-нибудь наболтала, но все это пустая болтовня. И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно: поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы так о своей невинности, это нарушает то в общем неплохое впечатление, которое вы производите. Вообще вам надо быть сдержаннее в разговорах. Все, что вы тут наговорили, и без того было ясно из вашего поведения, даже если бы вы произнесли только два слова, а кроме того, все это вам на пользу не идет.

К. в недоумении смотрел на инспектора. Его отчитывали как школьника, и кто же? Человек, который, вероятно, моложе его! За откровенность ему приходится выслушивать выговор! А о причине ареста, о том, кто велел его арестовать, — ни слова! Он даже разволновался, стал ходить взад и вперед по комнате, чему никто не препятствовал. Сдвинул под рукав манжеты, поправил манишку, пригладил волосы, сказал, проходя мимо трех молодых людей «Какая бессмыслица!», на что те обернулись к нему и сочувственно, хотя и строго, посмотрели на него, и, наконец, остановился перед столиком инспектора.

— Прокурор Гастерер — мой давний друг, — сказал он. — Можно мне позвонить ему?

— Конечно, — ответил инспектор, — но я не знаю, какой в этом смысл, разве что вам надо переговорить с ним по личному делу.

— Какой смысл? — воскликнул К. скорее озадаченно, чем сердито. — Да кто вы такой? Ищете смысл, а творите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят! Сначала эти господа на меня напали, а теперь расселись, стоят и глазеют всем скопом, как я пляшу под вашу дудку. И еще спрашиваете, какой смысл звонить прокурору, когда мне сказано, что я арестован! Хорошо, я не буду звонить!

— Отчего же? — сказал инспектор и повел рукой в сторону передней, где висел телефон. — Звоните, пожалуйста!

— Нет, теперь я сам не хочу, — сказал К. и подошел к окну.

Вся компания еще стояла у окна напротив, но то, что К. подошел к окну, нарушило их спокойное созерцание. Старики хотели было встать, но мужчина, стоявший сзади, успокоил их.

— А эти там тоже глазеют! — громко крикнул К. инспектору и ткнул пальцем в окно. — Убирайтесь отсюда! — закричал он в окошко.

Те трое сразу отступили вглубь, старики даже спрятались за соседа, прикрывшего их своим большим телом, и по его губам было видно, как он им что-то говорил, но издали трудно было разобрать слова. Однако они не ушли совсем, а словно выжидали минуту, когда можно будет незаметно опять подойти к окну.

— Какая назойливость, какая бесцеремонность! — сказал К., отходя от окна.

Инспектор как будто с ним согласился, по крайней мере так показалось К., когда он искоса на него взглянул. Впрочем, возможно, что тот и не слушал, потому что он плотно прижал ладонь к столику и как будто сравнивал длину своих пальцев. Оба стража сидели на сундуке, прикрытом для красоты ковриком, и потирали коленки. Трое молодых людей, уперев руки в бока, бесцельно смотрели по сторонам. Было тихо, словно в какой-нибудь опустевшей конторе.

— Ну-с, господа! — воскликнул К., и ему показалось, что он отвечает за них за всех. — По вашему виду можно заключить, что мое дело исчерпано. Я склонен считать, что лучше всего не разбираться, оправданны или неоправданны ваши поступки, и мирно разойтись, обменявшись дружеским рукопожатием. Если вы со мной согласны, то прошу вас... — И, подойдя к столику инспектора, он протянул ему руку.

Инспектор поднял глаза и, покусывая губы, посмотрел на протянутую руку. К. подумал, что он ее сейчас пожмет. Но тот встал, взял круглую жесткую шляпу, лежавшую на постели фройляйн Бюрстнер, и осторожно, обеими руками, как меряют обычно новые шляпы, надел ее на голову.

— Как просто вы все себе представляете! — сказал он К. — Значит, по-вашему, нам надо мирно разойтись? Нет, нет, так не выйдет. Но я вовсе не хочу сказать, что вы должны впасть в отчаяние. Нет, зачем же! Ведь вы только арестованы, больше ничего. Что я и должен был вам сообщить, сообщил и видел, как вы это приняли. На сегодня хватит, и мы можем попрощаться — правда, только на время. Вероятно, вы захотите сейчас отправиться в банк?

— В банк? — спросил К. — Но я думал, что меня арестовали!

К. сказал это с некоторым вызовом: несмотря на то что его рукопожатие отвергли, он чувствовал, особенно когда инспектор встал, что он все меньше зависит от этих людей. Он с ними играл. Он даже решил, если они уйдут, побежать за ними до ворот и предложить, чтобы они его арестовали. Поэтому он и повторил:

— Как же я могу пойти в банк, раз я арестован?

— Вот оно что! — сказал инспектор уже от дверей. — Значит, вы меня не поняли. Да, конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще, вам это не должно помешать вести обычную жизнь...

— Ну тогда этот арест вовсе не так страшен, — сказал К. и подошел вплотную к инспектору.

— А я иначе и не думал, — сказал тот.

— Тогда и сообщать об аресте, пожалуй, не стоило, — сказал К. и подошел совсем вплотную.

Остальные тоже подошли к ним. Все столпились у самой двери.

— Это была моя обязанность, — сказал инспектор.

— Глупейшая обязанность, — не сдаваясь, сказал К.

— Возможно, — сказал инспектор, — но не стоит терять время на такие разговоры. Я предположил, что вы хотите пойти в банк. Так как вы каждому слову придаете значение, добавлю: я вас не заставляю идти в банк, я только предположил, что вы этого хотите. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я и предоставил в ваше распоряжение этих трех господ, ваших коллег.

— Что? — крикнул К. и уставился на трех молодых людей.

Эти ничем не приметные, худосочные юнцы, которых он воспринимал

до сих пор только как посторонних людей, глазеющих на фотографии, действительно были чиновники из его банка; не коллеги — это было слишком сказано и доказывало, что всеведущий инспектор знает далеко не все, — но действительно это были низшие служащие из его банка. И как это К. мог их не узнать? Насколько же он был занят разговором с инспектором и стражей, что не узнал этих троих! Суховатого Рабенштейнера, вечно размахивающего руками белокурого Куллиха с запавшими глазами и Каминера с его невыносимой улыбкой из-за хронически перекошенных мускулов лица.

— С добрым утром! — сказал К. минуту спустя, и все трое с корректным поклоном пожали протянутую руку. — Совсем вас не узнал. Значит, теперь отправимся вместе на работу?

Все трое с готовностью заулыбались и закивали, словно только этого и ждали, а когда К. не нашел своей шляпы — она осталась в его комнате, — они все гуськом побежали туда, что, разумеется, указывало на некоторую растерянность. К. стоял и смотрел им вслед через обе открытые двери; последним, конечно, бежал равнодушный Рабенштейнер, он просто трусил элегантной рысцой. Каминер подал шляпу, и К. должен был напомнить самому себе, как часто бывало и в банке, что Каминер улыбается не нарочно, больше того, что улыбнуться нарочно он не может.

Фрау Грубах, у которой вид был вовсе не виноватый, отперла двери в прихожей перед всей компанией, и К. по привычке взглянул на завязки фартука, которые слишком глубоко врезались в ее мощный стан. На улице К. поглядел на часы и решил взять такси, чтобы не затягивать еще больше получасовое опоздание. Каминер побежал на угол за такси, а оба других сослуживца явно пытались развлечь К. И вдруг Куллих показал на парадное в доме напротив, откуда только что вышел высокий человек со светлой бородкой и, несколько смущенный тем, что его видно во весь рост, отступил назад и прислонился к стенке. Очевидно, старики еще спускались по лестнице. К. рассердился на Куллиха за то, что тот обратил его внимание на этого мужчину; он же сам видел его еще тогда, у окна, более того, он ждал, что тот выйдет.

— Не смотрите туда! — отрывисто бросил он, не замечая, насколько неуместен такой тон по отношению к взрослым людям.

Но объяснять ничего не пришлось, потому что подошел автомобиль, все уселись и поехали. Только тут К. спохватился, что он совершенно не заметил, как ушел инспектор со стражей: раньше из-за инспектора он не видел троих чиновников, а теперь из-за чиновников прозевал инспектора. Об осо-

бом присутствию духа это не свидетельствовало, и К. твердо решил последить за собой в этом отношении.

Но он невольно обернулся и высунулся из такси, чтобы проверить еще раз, там ли инспектор со стражей или нет. Однако он тут же повернулся назад и удобно откинулся в угол, даже не посмотрев, там ли они. Хотя он и не показывал виду, но именно сейчас ему хотелось бы с кем-нибудь заговорить. Но его спутники явно устали: Рабенштейнер смотрел направо, Куллих — налево, и только Каминер как будто был готов к разговору, со своей вечной ухмылкой, над которой, к сожалению, нельзя было подтрунить из простого человеколюбия.

Этой весной К. большей частью проводил вечера так: после работы, если еще оставалось время — чаще всего он сидел в конторе до девяти, — он прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а потом заходил в пивную, где обычно просиживал с компанией пожилых господ за их постоянным столом часов до одиннадцати. Бывали и нарушения этого расписания, например когда директор банка, очень ценивший К. за его работоспособность и надежность, приглашал его покататься в автомобиле или поужинать на даче. Кроме того, К. раз в неделю посещал одну барышню, по имени Эльза, которая всю ночь до утра работала кельнершей в ресторане, а днем принимала гостей исключительно в постели.

Но в этот вечер — весь день пролетел незаметно в напряженной работе и во всяких лестных и дружественных поздравлениях с днем рождения — К. решил сразу пойти домой. Каждый раз в перерывах между работой он об этом думал; неизвестно почему, ему все время казалось, что из-за утренних событий во всей квартире фрау Грубах царит ужасный хаос и что именно он должен навести там порядок. А раз порядок будет восстановлен, то все следы утренних событий исчезнут и все пойдет по-прежнему. Опасаться тех трех чиновников, конечно, было нечего: они растворились в огромной массе банковских служащих и по ним ничего заметно не было. К. несколько раз, и вместе и поодиночке, вызывал их к себе с единственной целью — понаблюдать за ними, и каждый раз он отпускал их вполне удовлетворенный.

Когда он в половине десятого подошел к своему дому, он встретил в подъезде молодого парня, который стоял, широко расставив ноги, с трубкой в зубах.

— Вы кто такой? — сразу спросил К. и надвинулся на парня; в полутемном подъезде трудно было что-либо разглядеть.

— Я сын швейцара, ваша честь, — сказал парень, вынул трубку изо рта и отступил в сторону.

— Сын швейцара? — переспросил К. и нетерпеливо постучал палкой об пол.

— Может быть, вам что-нибудь угодно? Прикажете позвать отца?

— Нет, нет, — сказал К., и в голосе его послышалось что-то похожее на снисхождение, словно парень натворил бед, а он его простил. — Все в порядке, — добавил он и пошел дальше, но, прежде чем подняться на лестницу, еще раз оглянулся.

Он мог бы пройти прямо к себе в комнату, но, так как ему надо было поговорить с фрау Грубах, он сразу постучался к ней. Она сидела с чулком в руках у стола, на котором лежала еще груда старых чулок. К. рассеянно извинился, что зашел так поздно, но фрау Грубах была с ним очень приветлива и никаких извинений слушать не захотела; для него она всегда дома, он отлично знает, что из всех ее квартирантов он самый лучший, самый любимый. К. оглядел комнату: все было на старом месте, посуда от завтрака, стоявшая утром на столике у окна, тоже была убрана. Женские руки все могут сделать незаметно, подумал он; сам он, наверно, скорее перебил бы всю посуду, но уж конечно не сумел бы унести ее отсюда. С благодарностью он посмотрел на фрау Грубах.

— Почему вы так поздно работаете? — спросил он.

Теперь они оба сидели у стола, и К. время от времени ворошил рукой груду чулок.

— Работы много, — сказала она. — Весь день уходит на квартирантов; а приводить свои вещи в порядок я могу только по вечерам.

— Сегодня я, наверно, доставил вам много лишних хлопот?

— Чем же это? — спросила она, оживившись, и опустила чулок на колени.

— Я про тех людей, которые приходили утром.

— Ах вот оно что, — сказала она прежним спокойным голосом. — Нет, никаких особых хлопот тут не было.

К. молча смотрел, как она снова взялась за чулок. Кажется, она удивлена, что я об этом заговорил, подумал он, кажется, она считает неправильным, что я об этом заговорил. Тем важнее все ей высказать. Только с таким старым человеком я и могу об этом поговорить.

— Ну как же, — сказал он вслух, — хлопот вам они, конечно, доставили немало. Но больше это не случится!

— Да, больше такое случиться не может, — подтвердила она и взглянула на К. с немного грустной улыбкой.

— Вы серьезно так думаете? — спросил К.

— Да, — сказала она тихо. — Но главное — вы не должны принимать все это близко к сердцу. Чего только на свете не бывает! И уж раз вы со мной так откровенно заговорили, господин К., то могу вам признаться: я кое-что подслушала под дверью, да и стража мне немножко рассказала. Ведь речь идет о вашей судьбе, и я за вас душой болею, хоть, может быть, мне это и не пристало, ведь я вам всего лишь квартирная хозяйка. Так вот, я кое-что слышала и не могу сказать, что все так плохо. Нет, нет. Правда, вы арестованы, но не так, как арестовывают воров. Когда арестовывают вора, дело плохо, а вот ваш арест... мне кажется, в нем есть что-то научное. Вы уж меня простите, если я говорю глупости, но, мне кажется, тут, безусловно, есть что-то научное. Я, правда, мало что понимаю, но, наверно, тут и понимать не следует.

— Все это не глупости, фрау Грубах, по крайней мере я с вами отчасти согласен. Правда, я сужу об этом гораздо строже, чем вы, для меня тут не только ничего научного нет, но и вообще за всем этим нет ничего. На меня напали врасплох, вот и все. Если бы я встал с постели, как только проснулся, не растерялся бы оттого, что не пришла Анна, не обратил бы внимания, попался мне кто навстречу или нет, а сразу пошел бы к вам и на этот раз в виде исключения позавтракал бы на кухне, а вас попросил бы принести мое платье из комнаты, тогда ничего и не произошло бы, все, что потом случилось, было бы задушено в корне. Но в таких делах человек легко попадает впросак. Вот, например, в банке я ко всему подготовлен, там ничего подобного со мной случиться не могло бы, там у меня свой курьер, на столе стоит городской и внутренний телефон, все время заходят люди — и служащие и клиенты, да кроме того, я там все время связан с работой, во всем отдаю себе отчет, там такая история мне просто доставила бы удовольствие. Ну ничего, теперь все кончилось. Собственно говоря, мне даже не хотелось об этом говорить, надо было только услышать ваше мнение, мнение разумной женщины, и я чрезвычайно рад, что мы во всем с вами сошлись. А теперь давайте руку, такое единодушие надо скрепить рукопожатием.

Интересно, подаст она мне руку или нет? Инспектор мне руки не подал, подумал он и посмотрел на хозяйку долгим, испытующим взглядом. Она встала, потому что встал он, слегка смущенная тем, что не все слова К. ей были понятны. И от смущения она сказала вовсе не то, что хотела и что было совсем уж неуместно.

— Не принимайте все так близко к сердцу, господин К., — сказала она со слезами в голосе, но пожать ему руку забыла.

— Да я как будто и не принимаю, — сказал К., чувствуя внезапную усталость и поняв, насколько ему не нужно сочувствие этой женщины.

У двери он еще спросил:

— А фройляйн Бюрстнер дома?

— Нет, — сказала фрау Грубах и смягчила сухой ответ заповздалой, участливой и понимающей улыбкой. — Она в театре. А вам она нужна? Может быть, передать ей что-нибудь?

— Нет, мне просто хотелось сказать ей несколько слов.

— К сожалению, я не знаю, когда она вернется. Обычно она возвращается из театра довольно поздно.

— Это неважно, — сказал К. и, опустив голову, пошел к двери. — Я только хотел извиниться, что сегодня пришлось воспользоваться ее комнатой.

— Не стоит, господин К., вы слишком щепетильны, ведь барышня ничего об этом не знает, ее с самого утра дома не было, да там все уже убрано, посмотрите сами. — И она открыла дверь в комнату фройляйн Бюрстнер.

— Не надо, я вам и так верю, — сказал К., но все же подошел к открытой двери.

Луна спокойно освещала темную комнату. Насколько можно было разобрать, все действительно стояло на месте, даже блузка уже не висела на оконной ручке. Постель казалась особенно высокой в косой полосе лунного света.

— Барышня часто приходит поздно, — сказал К. и посмотрел на фрау Грубах, как будто она за это отвечала.

— Молодежь, что поделаешь! — сказала фрау Грубах, словно извиняясь.

— Да, да, конечно, — сказал К. — Но это может зайти слишком далеко.

— О да, конечно! — сказала фрау Грубах. — Вы совершенно правы, господин К. Может быть, и в данном случае вы тоже правы. Не хочу сплетничать про фройляйн Бюрстнер, она хорошая, славная девушка, такая приветливая, аккуратная, исполнительная, трудолюбивая, я все это очень ценю, но одно верно: надо бы ей больше гордости, больше сдержанности. А в этом месяце я уже два раза видела ее в глухих переулках, и каждый раз с другим кавалером. Очень мне это неприятно, господин К. Клянусь богом, я расска-

зываю это только вам одному, но, как видно, придется и с самой барышней поговорить. Да и не одно это вызывает у меня подозрения.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал К. сердито, с трудом скрывая раздражение, — и вообще, вы неверно истолковали мои слова про барышню, я совсем не то хотел сказать. Искренне советую вам ничего ей не говорить. Вы глубоко заблуждаетесь, я ее знаю очень хорошо, и все, что вы говорите, неправда! Впрочем, может быть, я слишком много беру на себя, зачем мне вмешиваться, говорите ей что хотите. Спокойной ночи!

— Господин К.! — умоляюще сказала фрау Грубах и побежала за К. до самой его двери, которую он уже приоткрыл. — Да я вовсе и не собираюсь сейчас говорить с барышней, конечно, я сначала должна еще понаблюдать за ней, ведь я только вам доверила то, что я знаю. В конце концов, каждый жилец заинтересован, чтобы в пансионе все было чисто, а я только к этому и стремлюсь!

— Ах чисто! — крикнул К. уже в щелку двери. — Ну если вы хотите соблюдать чистоту в вашем пансионе, так откажите от квартиры мне первому! — Он захлопнул двери и не ответил на робкий стук.

Но спать ему совсем не хотелось, и он решил не ложиться и на этот раз установить, когда вернется фройляйн Бюрстнер. И быть может, ему удастся сказать ей несколько слов, хотя время совсем неподходящее. Высунувшись в окно и щуря усталые глаза, он даже на минуту подумал, не наказать ли фрау Грубах, уговорив фройляйн Бюрстнер вместе с ним съехать с квартиры. Но он тут же понял, что слишком все преувеличивает, и даже заподозрил себя в том, что ему просто хочется переменить квартиру после утренних событий. Ничего бессмысленнее, а главное, — ничего бесцельнее и бездарнее нельзя было и придумать.

Когда ему надоело смотреть на пустую улицу, он прилег на кушетку, но сначала приоткрыл дверь в прихожую, чтобы, не вставая, видеть всех, кто войдет в квартиру. Часов до одиннадцати он пролежал спокойно на кушетке, покуривая сигару. Но потом не выдержал и вышел в прихожую, как будто этим можно было ускорить приход фройляйн Бюрстнер. У него не было никакой охоты ее видеть, он даже не мог точно вспомнить, как она выглядит, но ему нужно было с ней поговорить, и его раздражало, что из-за ее опоздания даже конец дня вышел такой беспокойный и беспорядочный. Виновата она была и в том, что он не поужинал и пропустил визит к Эльзе, назначенный на сегодня. Конечно, можно было бы наверстать упущенное и пойти в ресторанчик, где работала Эльза. Он решил, что после разговора с фройляйн Бюрстнер он так и сделает.

ЗАМОК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прибытие

К. прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы не было видно. Туман и тьма закрывали ее, и огромный Замок не давал о себе знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял К. на деревянном мосту, который вел с проезжей дороги в Деревню, и смотрел в кажущуюся пустоту.

Потом он отправился искать ночлег. На постоялом дворе еще не спали, и хотя комнат хозяин не сдавал, он так растерялся и смутился приходом позднего гостя, что разрешил К. взять соломенный тюфяк и лечь в общей комнате. К. охотно согласился. Несколько крестьян еще допивали пиво, но К. ни с кем не захотел разговаривать, сам стащил тюфяк с чердака и улегся у печки. Было очень тепло, крестьяне не шумели, и, окинув их еще раз усталым взглядом, К. заснул.

Но вскоре его разбудили. Молодой человек с лицом актера — узкие глаза, густые брови — стоял над ним рядом с хозяином. Крестьяне еще не разошлись, некоторые из них повернули стулья так, чтобы лучше видеть и слышать. Молодой человек очень вежливо попросил прощения за то, что разбудил К., представился — сын кастеляна Замка — и затем сказал: «Эта Деревня принадлежит Замку, и тот, кто здесь живет или ночует, фактически живет и ночует в Замке. А без разрешения графа это никому не дозволяется. У вас такого разрешения нет, по крайней мере вы его не предъявили».

К. привстал, пригладил волосы, взглянул на этих людей снизу вверх и сказал: «В какую это Деревню я попал? Разве здесь есть Замок?»

«Разумеется, — медленно проговорил молодой человек, а некоторые окружающие поглядели на К. и покачали головами. — Здесь находится Замок графа Вествеста».

«Значит, надо получить разрешение на ночевку?» — переспросил К., словно желая убедиться, что ему эти слова не приснились.

«Разрешение надо получить обязательно, — ответил ему молодой человек и с явной насмешкой над К., разведя руками, спросил хозяина и посетителей: — Разве можно без разрешения?»

«Что же, придется мне достать разрешение», — сказал К., зевнув и откинув одеяло, словно собирался встать.

«У кого же?» — спросил молодой человек.

«У господина графа, — сказал К., — что же еще остается делать?»

«Сейчас, в полночь, брать разрешение у господина графа?» — воскликнул молодой человек, отступая на шаг.

«А разве нельзя?» — равнодушно спросил К. — Зачем же тогда вы меня разбудили?»

Но тут молодой человек совсем вышел из себя. «Привыкли бродяжничать?» — крикнул он. — Я требую уважения к графским служащим. А разбудил я вас, чтобы вам сообщить, что вы должны немедленно покинуть владения графа».

«Но довольно ломать комедию, — нарочито тихим голосом сказал К., ложась и натягивая на себя одеяло. — Вы слишком много себе позволяете, молодой человек, и завтра мы еще поговорим о вашем поведении. И хозяин, и все эти господа могут всё подтвердить, если вообще понадобится подтверждение. А я только могу вам доложить, что я тот землемер, которого граф вызвал к себе. Мои помощники со всеми приборами подъедут завтра. А мне захотелось пройтись по снегу, но, к сожалению, я несколько раз сбивался с дороги и потому попал сюда так поздно. Я знал и сам, без ваших наставлений, что сейчас не время являться в Замок. Оттого я и удовольствовался этим ночлегом, который вы, мягко выражаясь, нарушили так невежливо. На этом мои объяснения кончены. Спокойной ночи, господа!» И К. повернулся к печке. «Землемер?» — услышал он чей-то робкий вопрос за спиной, потом настала тишина. Но молодой человек тут же овладел собой и сказал хозяину голосом достаточно сдержанным, чтобы подчеркнуть уважение к засыпающему К., но все же достаточно громким, чтобы тот услышал: «Я справлюсь по телефону». Значит, на этом постоялом дворе есть даже телефон? Превосходно устроились. Хотя кое-что и удивляло К., он, в общем, принял все как должное. Выяснилось, что телефон висел прямо над его головой, но спросонья он его не заметил. И если молодой человек станет звонить, то, как он ни старайся, сон К. обязательно будет нарушен, разве что К. не позволит ему звонить. Однако К. решил не мешать ему.

Но тогда не было смысла притворяться спящим, и К. снова повернулся на спину. Он увидел, что крестьяне робко сбились в кучку и переговариваются; видно, приезд землемера — дело немаловажное. Двери кухни распахнулись, весь дверной проем заняла мощная фигура хозяйки, и хозяин, подойдя к ней на цыпочках, стал что-то объяснять. И тут начался телефонный разговор. Сам кастелян спал, но помощник кастеляна, вернее, один из его помощников, господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавший себя Шварццером, рассказал, что он обнаружил некоего К., человека лет тридцати, весьма плохо одетого, который преспокойно спал на соломенном тюфяке, положив под голову вместо подушки рюкзак, а рядом с собой — суковатую палку. Конечно, это вызвало подозрение, и так как хозяин явно пренебрег своими обязанностями, то он, Шварццер, счел своим долгом вникнуть в его дело как следует, но К. весьма неприязненно отнесся к тому, что его разбудили, допросили и пригрозили выгнать из владений графа, хотя, может быть, рассердился он по праву, так как утверждает, что он землемер, которого вызвал сам граф. Разумеется, необходимо, хотя бы для соблюдения формальностей, проверить это заявление, поэтому Шварццер просит господина Фрица справиться в Центральной канцелярии, действительно ли там ожидают землемера, и немедленно сообщить результат по телефону.

Стало совсем тихо; Фриц наводил справки, а тут ждали ответа. К. лежал неподвижно, он даже не повернулся и, не проявляя никакого интереса, уставился в одну точку. Недоброжелательный и вместе с тем осторожный доклад Шварццера говорил о некоторой дипломатической подготовке, которую в Замке, очевидно, проходят даже самые незначительные люди вроде Шварццера. Да и работали там, как видно, на совесть, раз Центральная канцелярия была открыта и ночью. И справки выдавали, как видно, сразу: Фриц позвонил тут же. Ответ был, как видно, весьма короткий, и Шварццер злобно бросил трубку. «Как я и говорил! — закричал он. — Никакой он не землемер, просто гнусный враль и бродяга, а может, и похуже».

В первую минуту К. подумал, что все — и крестьяне, и Шварццер, и хозяин с хозяйкой — бросятся на него. Он нырнул под одеяло — хотя бы укрыться от первого наскока. Но тут снова зазвонил телефон, как показалось К., особенно громко. Он осторожно высунул голову. И хотя казалось маловероятным, что звонок касается К., но все остановилось, а Шварццер подошел к аппарату. Он выслушал длинное объяснение и тихо проговорил: «Значит, ошибка? Мне очень неприятно. Как, звонил сам начальник канцелярии? Странно, странно. Что же мне сказать господину землемеру?»

К. насторожился. Значит, Замок утвердил за ним звание землемера. С одной стороны, это было ему невыгодно, так как означало, что в Замке о нем знают все что надо и, учитывая соотношение сил, шутя принимают вызов к борьбе. Но с другой стороны, в этом была и своя выгода: по его мнению, это доказывало, что его недооценивают и, следовательно, он будет пользоваться большей свободой, чем предполагал. А если они считают, что этим своим безусловно высокомерным признанием его звания они смогут держать его в постоянном страхе, то тут они ошибаются: ему стало немного жутко, вот и все.

К. отмахнулся от Шварцера, когда тот робко попытался подойти к нему, отказался, несмотря на уговоры, перейти в комнату хозяев, только принял из рук хозяина стакан питья, а от хозяйки — таз для умывания и мыло с полотенцем; ему даже не пришлось просить очистить зал, так как все уже теснились у выхода, отворачиваясь от К., чтобы он утром никого не узнал. Лампу погасили, и наконец его оставили в покое. Он уснул глубоким сном и, хотя его раза два будили шмыгавшие мимо крысы, проспал до самого утра.

После завтрака — и еду, и пребывание К. в гостинице должен был, по словам хозяина, оплатить Замок — К. собрался идти в Деревню. Но так как хозяин, с которым он, памятуя его вчерашнее поведение, говорил только по необходимости, все время молча, с умоляющим видом, вертелся около него, К. сжалился над ним и разрешил ему присесть рядом.

«С графом я еще незнаком, — сказал он, — говорят, он за хорошую работу хорошо и платит, верно? Когда уедешь, как я, далеко от семьи, хочется привезти домой побольше».

«Об этом пусть господин не беспокоится, на плохую оплату здесь еще никто не жаловался». «Да я и не робкого десятка, — сказал К., — могу настоять на своем и перед графом, но, конечно, куда лучше поладить миром с этим господином».

Хозяин примостился напротив К. на самом краешке подоконника — усесться поудобнее он не решался — и не сводил с К. больших карих испуганных глаз. И хотя перед этим он сам все время ходил около К., но теперь, как видно, ему не терпелось сбежать. Боялся он, что ли, расспросов про графа? Или боялся, что «господин», которого он видел в К., — человек ненадежный? К. решил его отвлечь. Взглянув на часы, он сказал: «Скоро подъедут и мои помощники, сможешь ли ты пристроить их тут?»

«Конечно, сударь, но разве они не будут жить вместе с тобой в Замке?»

Неужели он так легко и охотно отказывается от постояльцев, и от К. в особенности, считая, что тот непременно будет жить в Замке?

«Это не обязательно, — сказал К., — сначала надо узнать, какую мне дадут работу. Если, к примеру, придется работать тут, внизу, то и жить внизу будет удобнее. К тому же я боюсь, что жизнь в Замке окажется не по мне. Хочу всегда чувствовать себя свободно».

«Не знаешь ты Замка», — тихо сказал хозяин.

«Конечно, — сказал К., — заранее судить не стоит. О Замке я покамест знаю только то, что там умеют подобрать для себя хороших землемеров. Но возможно, там есть и другие преимущества». И К. встал, чтобы освободить от своего присутствия хозяина, беспокояно кусавшего губы. Не так-то легко было завоевать доверие этого человека.

Выходя, К. обратил внимание на темный портрет в темной раме, висевший на стене. Он заметил его и раньше, со своего тюфяка, но издали не разглядел как следует и подумал, что картина была вынута из рамы и осталась только черная доска. Но теперь он увидел, что это был портрет, поясной портрет мужчины лет пятидесяти. Его голова была опущена так низко, что глаз почти не было видно и четко выделялся только высокий выпуклый лоб да крупный крючковатый нос. Широкая борода, прижатая наклоном головы, резко выдавалась вперед. Левая рука была запущена в густые волосы, но поднять голову кверху никак не могла. «Кто такой? — спросил К. — Граф?»

«Нет, — сказал хозяин, — это кастелян».

«Красивый у них в Замке кастелян, сразу видно, — сказал К., — жаль только, что сын у него неудачный». «Нет, — сказал хозяин, притянул к себе К. и зашептал ему в ухо: — Шварцер вчера наговорил лишнего, его отец всего лишь помощник кастеляна, да и то из самых низших». К. показалось, что в эту минуту хозяин стал похож на ребенка. «Каков негодяй!» — засмеялся К., но хозяину было, очевидно, не до смеха. «Его отец тоже человек могущественный!» — гказал он. «Брось! — сказал К. — Ты всех считаешь могущественными. Наверно, и меня тоже?» «Тебя? — сказал тот робко, но решительно. — Нет, тебя я могущественным не считаю». «Однако ты неплохо все подмечаешь, — сказал К. — Откровенно говоря, никакого могущества у меня действительно нет. Должно быть, оттого я не меньше тебя уважаю всякую власть, только я не так откровенен, как ты, и не всегда желаю в этом сознаваться». И К. слегка похлопал хозяина по щеке — хотелось и утешить его, и снискать больше доверия к себе. Тот смущенно улыбнулся. Он и вправду был похож на мальчишку — лицо мягкое, почти безбородое. И как это ему досталась такая толстая, немолодая жена — через оконце в стене было видно, как она, широко расставив локти, хозяйничает

на кухне. Но К. не хотел сейчас расспрашивать хозяина, боясь прогнать эту улыбку, вызванную с таким трудом. Он только кивком попросил открыть ему двери и вышел в погожее зимнее утро.

Теперь весь Замок ясно вырисовывался в прозрачном воздухе, и от тонкого снежного покрова, целиком одевавшего его, все формы и линии выступали еще отчетливее. Вообще же там, на горе, снега как будто было меньше, чем тут, в Деревне, где К. пробирался с не меньшим трудом, чем вчера по дороге. Тут снег подступал к самым окнам избышек, навстречу тяжело нависали с низких крыш сугробы, а там, на горе, все высылось свободно и легко — так по крайней мере казалось снизу.

Весь Замок, каким он виделся издалека, вполне соответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящий из нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий, и, если бы не знать, что это Замок, можно было бы принять его за городок. К. увидел только одну башню, то ли над жилым помещением, то ли над церковью — разобрать было нельзя. Стаи ворон кружились над башней.

К. шел вперед, не сводя глаз с Замка, — ничто другое его не интересовало. Но чем ближе он подходил, тем больше разочаровывал его Замок, уже казавшийся просто жалким городком, чьи домишки отличались от изб только тем, что были построены из камня, да и то штукатурка с них давно осыпалась, а каменная кладка явно крошилась. Мельком припомнил К. свой родной городок; он был ничуть не хуже этого так называемого Замка. Если бы К. приехал лишь для его осмотра, то жалко было бы проделанного пути, и куда умнее было бы снова навестить далекий родной край, где он так давно не бывал. И К. мысленно сравнил церковную башню родного города с этой башней наверху. Та башня четкая, бестрепетно идущая кверху, с широкой кровлей, крытой красной черепицей, вся земная — разве можем мы строить иначе? — но устремленная выше, чем приземистые домишки, более праздничная, чем их тусклые будни. А эта башня наверху — единственная, какую он заметил, башня жилого дома, как теперь оказалось, а может быть, и главная башня Замка — представляла собой однообразное круглое строение, кое-где словно из жалости прикрытое плющом, с маленькими окнами, посверкивающими сейчас на солнце — в этом было что-то безумное — и с выступающим карнизом, чьи зубцы, неустойчивые, неровные и ломкие, словно нарисованные пугливой или небрежной детской рукой, врезались в синее небо. Казалось, будто какой-то унылый жилец, которому лучше всего

было бы запереться в самом дальнем углу дома, вдруг пробил крышу и высунулся наружу, чтобы показаться всему свету.

К. снова остановился, как будто так, не на ходу, ему было легче судить о том, что он видел. Но ему помешали. За сельской церковью, где он остановился, — в сущности, это была, скорее часовня с пристройкой вроде амбара, где можно было вместить всех прихожан, — стояла школа. Длинный низкий дом — странное сочетание чего-то наспех сколоченного и вместе с тем древнего — стоял в саду, обнесенном решеткой и утонувшем в снегу. Оттуда как раз выходили дети с учителем. Окружив его тесной толпой и глядя ему в глаза, ребята без умолку болтали наперебой, и К. ничего не понимал в их быстрой речи. Учитель, маленький, узкоплечий человек, держался очень прямо, но не производил смешного впечатления. Он уже издали заметил К. — впрочем, никого, кроме его учеников и К., вокруг не было.

Как приезжий, К. поздоровался первым, к тому же у маленького учителя был весьма внушительный вид. «Добрый день, господин учитель», — сказал К. Словно по команде, дети сразу замолчали, и эта внезапная тишина в ожидании его слов как-то расположила учителя. «Рассматриваете Замок?» — спросил он мягче, чем ожидал К., однако таким тоном, словно он не одобрял поведения К. «Да, — сказал К. — Я приезжий, только со вчерашнего вечера тут». «Вам Замок не нравится?» — быстро спросил учитель. «Как вы сказали? — переспросил К. немного растерянно и повторил вопрос учителя, смягчив его: — Нравится ли мне Замок? А почему вы решили, что он мне не понравится?» «Никому из приезжих не нравится», — сказал учитель. И К., чтобы не сказать лишнего, перевел разговор и спросил: «Вы, наверно, знаете графа?» «Нет», — ответил учитель и хотел отойти, но К. не уступал и повторил вопрос: «Как, вы не знаете графа?» «Откуда мне его знать?» — тихо сказал учитель и добавил громко по-французски: — Будьте осторожней в присутствии невинных детей». К. решил, что после этих слов ему можно спросить:

«Вы разрешите как-нибудь зайти к вам, господин учитель? Я приехал сюда надолго и уже чувствую себя несколько одиноким; с крестьянами у меня мало общего, и с Замком, очевидно, тоже». «Между Замком и крестьянами особой разницы нет», — сказал учитель. «Возможно, — согласился К. — Но в моем положении это ничего не меняет. Можно мне как-нибудь зайти к вам?» «Я живу на Шваненгассе, у мясника», — сказал учитель. И хотя он скорее просто сообщил свой адрес, чем пригласил к себе, но К. все же сказал: «Хорошо, я приду». Учитель кивнул головой и отошел, а дети сразу загалдели. Вскоре они скрылись в круто спускавшемся переулке.

К. не мог сосредоточиться — его расстроил этот разговор. Впервые после приезда он почувствовал настоящую усталость. Дальняя дорога его совсем не утомила, он шел себе и шел, изо дня в день, спокойно, шаг за шагом. А сейчас сказывались последствия сильнейшего переутомления — и очень некстати. Его неудержимо тянуло к новым знакомствам, но каждая новая встреча усугубляла усталость. Нет, будет вполне достаточно, если он в своем теперешнем состоянии заставит себя прогуляться хотя бы до входа в Замок.

Он снова зашагал вперед, но дорога была длинной. Оказалось, что улица — главная улица Деревни — вела не к замковой горе, а только приближалась к ней, но потом, словно нарочно, сворачивала вбок и, не удаляясь от Замка, все же к нему и не приближалась. К. все время ждал, что наконец дорога повернет к Замку, и только из-за этого шел дальше, от усталости он явно боялся сбиться с пути, да к тому же его удивляла величина Деревни: она тянулась без конца — все те же маленькие домишки, заиндевевшие окна, и снег, и безлюдье, — тут он внезапно оторвался от цепко державшей его дороги, и его принял узкий переулочек, где снег лежал еще глубже и только с трудом можно было вытаскивать вязнувшие ноги. Пот выступил на лбу у К., и он остановился в изнеможении.

Да, но ведь он был не один, справа и слева стояли крестьянские избы. Он слепил снежок и бросил его в окошко.

Тотчас же отворилась дверь — первая открывшаяся дверь за всю дорогу по Деревне, — и старый крестьянин в коричневом кожухе, приветливо и робко склонив голову к плечу, вышел ему навстречу. «Можно мне ненадолго зайти к вам? — сказал К. — Я очень устал». Он не расслышал, что ответил старик, но с благодарностью увидел, что тот подложил доску, чтобы он мог выбраться из глубокого снега, и, шагнув по ней, К. очутился в горнице.

Большая сумрачная комната. Войдя со свету, сразу ничего нельзя было увидеть. К. наткнулся на корыто, женская рука отвела его. В одном углу громко кричали дети. Из другого валил густой пар, от которого полутьма сгущалась в полную темноту. К. стоял, словно окутанный облаками. «Да он пьян», — сказал кто-то. «Вы кто такой? — властно крикнул чей-то голос и, обращаясь, как видно, к старику, добавил: — Зачем ты его впустил? Всех, что ли, впускать, кто шляется по дороге?» «Я графский землемер», — сказал К., как бы пытаясь оправдаться перед тем, кого он все еще не видел. «Ах, это землемер», — сказал женский голос, и сразу наступила полнейшая тишина. «Вы меня знаете?» — спросил К. «Конечно», — коротко бросил тот же голос. Но то, что они знали К., как видно, не шло ему на пользу.

Наконец пар немного рассеялся, и К. стал постепенно присматриваться. Очевидно, у них был банный день. У дверей стирали. Но пар шел из другого угла, где в огромной деревянной лохани — таких К. не видел, она была величиной с двухспальную кровать — в горячей воде мылись двое мужчин. Но еще неожиданнее — хотя трудно было сказать, в чем заключалась эта неожиданность, — оказалось то, что виднелось в правом углу. Из большого окна — единственного в задней стене горницы — со двора падал бледный нежный свет, придавая шелковистый отблеск платью женщины, устало полужавшей в высоком кресле. К ее груди прильнул младенец. Около нее играли дети, явно крестьянские ребята, но она как будто была не из этой среды. Правда, от болезни и усталости даже крестьянские лица становятся утонченней.

«Садитесь!» — сказал один из мужчин, круглобородый, да еще с нависшими усами — он все время отдувал их с губ, пыхтя и разевая рот, — и, нелепым жестом выбросив руку из лохани, он указал К. на сундук, обдав ему все лицо теплой водой. На сундуке в сумрачном раздумье уже сидел старик, впустивший К., и К. обрадовался, что наконец можно сесть. Больше на него никто не обращал внимания. Молодая женщина, стиравшая у корыта, светловолосая, в расцвете молодости, тихо напевала, мужчины крутились и вертели в лохани; ребята все время лезли к ним, но их отгоняли, свирепо брызгая в них водой, попадавшей и на К.; женщина в кресле замерла, как неживая, и смотрела не на младенца у груди, а куда-то вверх.

Верно, К. долго глядел на эту неподвижную, грустную и прекрасную картину, но потом, должно быть, заснул, потому что, встрепенувшись от громкого окрика, он почувствовал, что лежит головой на плече у старика, сидевшего рядом. Мужчины уже вымылись и стояли одетые около К., а в лохани теперь плескались ребята под присмотром белокурой женщины. Выяснилось, что крикливый бородач не самый главный из двоих. Второй, хоть и ростом не выше и с гораздо менее густой бородой, оказался тихим, медлительным, широкоплечим человеком со скуластым лицом; он стоял опустив голову. «Господин землемер, — сказал он, — вам тут оставаться нельзя. Простите за невежливость». «Я и не думал оставаться, — сказал К. — Хотел только передохнуть немного. Теперь отдохнул и могу уйти». «Наверно, вас удивляет негостеприимство, — сказал тот, — но гостеприимство у нас не в обычае, нам гостей не надо». Освеженный недолгим сном и снова сосредоточившись, К. обрадовался откровенным словам. Он двигался свободнее, прошелся, опираясь на свою палку, взад и вперед, даже подошел к женщине в кресле, ощущая, что он ростом выше всех остальных.

«Правильно, — сказал К. — Зачем вам гости? Но изредка человек может и понадобится, например землемер, такой, как я». «Мне это неизвестно, — медленно сказал тот. — Если вас вызвали, значит, вы понадобились; наверно, это исключение, но мы, мы люди маленькие, живем по закону, вам за это на нас обижаться не следует». «Нет, нет, — сказал К., — я вам только благодарен, и вам лично, и всем присутствующим». И неожиданно для всех К. буквально подпрыгнул на месте, перевернулся и очутился перед женщиной в кресле. Усталые голубые глаза поднялись на него. Прозрачный шелковый платочек до половины прикрывал лоб, младенец спал у нее на груди. «Кто ты?» — спросил К., и с пренебрежением к самому ли К. или к своим словам она бросила: «Я служанка из Замка».

Но не прошло и секунды, как слева и справа К. схватили двое мужчин и молча, словно другого способа объяснить не было, с силой потащили его к дверям. Старик чему-то вдруг обрадовался и захолопал в ладоши. И прачка засмеялась вместе с загалдевшими вдруг ребятами.

К. так и остался стоять на улице, мужчины следили за ним с порога. Снова пошел снег, но как будто стало светлее. «Куда вы пойдете?» — нетерпеливо крикнул круглобродый. — Туда — путь к Замку, сюда — в Деревню». Но К. спросил не у него, а у того, второго, который, несмотря на свою замкнутость, казался ему обходительнее: «Кто вы такие? Кого мне благодарить за отдых?» «Я дубильщик Лаземан, — ответил тот. — А благодарить вам никого не надо». «Прекрасно, — сказал К. — Надеюсь, мы еще встретимся». «Вряд ли», — сказал мужчина. И в эту минуту круглобродый, подняв руку, закричал: «Здорово, Артур, здорово, Иеремия!» К. обернулся: значит, в этой Деревне все же люди выходили на улицу! По дороге от Замка шли два молодых человека среднего роста, оба очень стройные, в облегающих костюмах и даже лицом очень похожие. Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки такой черноты, что выделялись даже на смуглых лицах. Несмотря на трудную дорогу, они шли удивительно быстро, выбрасывая в такт стройные ноги. «Вы зачем сюда?» — крикнул бородач. «Дела!» — смеясь, крикнули те. «Где?» — «На постоялом дворе!» — «И мне туда!» — закричал К. громче всех, ему ужасно захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой. И хотя знакомство с ними ничего особенного не сулило, но они наверняка были бы славными, бодрыми спутниками. Они услышали слова К., но только кивнули ему и сразу исчезли вдали.

К. все еще стоял в снегу, у него не было охоты вытаскивать оттуда ногу, чтобы тут же погрузить ее в сугроб; дубильщик с товарищем, довольные тем, что окончательно избавились от К., медленно протискивались в дом

сквозь неплотно прикрытую дверь, то и дело оглядываясь на К., и К. наконец остался один в глубоком снегу. «Пожалуй, была бы причина слегка расстроиться, — подумал К., — если бы я сюда попал случайно, а не нарочно».

Вдруг с левой стороны домишка открылось крохотное оконце; оно казалось темно-синим, пока было закрыто, — очевидно, при отблеске снега — и было таким крошечным, что сейчас в нем виднелось не все лицо того, кто выглядывал, а только глаза — стариковские карие глаза. «Вот он стоит», — услышал К. дрожащий женский голос. «Это землемер, — сказал мужской голос. Потом мужчина подошел к окошку и добавил без враждебности, но все же так, словно был озабочен, как бы не нарушился порядок перед его домом: — Кого вы ждете?» «Жду, пока какие-нибудь сани меня не захватят», — сказал К. «Тут сани не проезжают, — сказал мужчина, — тут дорога непроезжая». — «Но ведь это дорога в Замок?» — «И все же тут дорога непроезжая», — повторил мужчина с какой-то настойчивостью. Оба замолчали. Но мужчина, очевидно, что-то решал, потому что не захлопывал оконца, оттуда шел дымок. «Дорога скверная», — сказал К., подерживая разговор.

Но тот только сказал: «Да, конечно. — Помолчав, он все же добавил: — Если хотите, я вас довезу на санках». «Пожалуйста, довезите! — обрадовался К. — Сколько вы с меня возьмете?»

«Ничего», — сказал мужчина. К. очень удивился. «Вы ведь землемер, — объяснил мужчина, — вы имеете отношение к Замку. Куда же вы хотите ехать?» «В Замок», — ответил К. «Тогда я не поеду», — сразу сказал мужчина. «Но я же имею отношение к Замку», — сказал К., повторяя слова мужчины. «Возможно», — уклончиво сказал тот. «Тогда отвезите меня на постоялый двор», — сказал К. «Хорошо, — сказал мужчина, — сейчас выведу сани». Видно, тут дело было не в особой любезности, а скорее в эгоистичном, тревожном, почти педантическом стремлении поскорее убрать К. с улицы перед домом.

Открылись ворота, и выехали маленькие санки для легких грузов, совершенно плоские, без всякого сиденья, запряженные тощей лошадейкой; за ними шел, согнувшись, малорослый хромо́й человек с изможденным, красным, слезящимся лицом, которое казалось совсем крошечным в складках толстого шерстяного платка, накрученного на голову. Человек был явно болен и, очевидно, вышел на улицу только для того, чтобы отвезти К. Так К. ему и сказал, но тот отмахнулся. К. услышал только, что он возница Герстекер и взял эти неудобные санки потому, что они стояли наготове, а выводить другие было бы слишком долго. «Садитесь», — сказал он, ткнув

кнутом в задок саней. «Я сяду с вами рядом», — ответил К. «А я пешком», — сказал Герстекер. «Почему?» — спросил К. «Я пешком», — повторил Герстекер, и вдруг его так стал колотить кашель, что пришлось упереться ногами в снег, а руками — в край санок, чтобы не упасть. К., ничего не говоря, сел в санки сзади, кашель постепенно утих, и они тронулись.

Замок наверху, странно потемневший, куда К. сегодня и не надеялся добраться, отдалялся все больше и больше. И, словно подавая знак и ненадолго прощаясь, оттуда прозвучал колокол, радостно и окрыленно, и от этого колокольного звона на миг вздрогнуло сердце, словно в боязни — ведь и тоской звенел колокол, — а вдруг исполнится то, к чему так робко оно стремилось. Но большой колокол вскоре умолк, его сменил слабый однотонный колокольчик, то ли оттуда сверху, то ли уже из Деревни. И этот перезвон как-то лучше подходил к медленному скольжению саней и унылому, но безжалостному вознице.

«Слушай! — крикнул вдруг К.; они уже подъезжали к церкви, постоянный двор был недалеко, и К. немного осмелел. — Я все удивляюсь, что ты под свою ответственность решаешься меня везти, разве тебе это разрешено?» Но Герстекер не обратил никакого внимания и спокойно шагал рядом с лошадежкой. «Эй!» — крикнул К. и, собрав в санях горсть снега, угодил снежком прямо в ухо Герстекеру. Тот остановился и обернулся назад; и когда К. увидел его так близко перед собой — санки проползли только шаг, — увидел эту согнутую, чем-то искаленную фигуру, воспаленное, усталое, худое лицо с какими-то разными щеками — одна плоская, другая запавшая, — полуоткрытый растерянный рот, где торчало всего несколько зубов, он повторил ехидный вопрос уже с состраданием: не достанется ли Герстекеру за то, что он отвез К.? «Чего тебе надо?» — непонятливо спросил Герстекер и, не ожидая объяснений, крикнул на лошадежку, и они поехали дальше.

Когда они — К. узнал знакомый поворот — уже почти добрались до постоянного двора, там была полнейшая темнота, чему К. очень удивился. Неужели он так долго отсутствовал? Всего час-другой, по его расчетам, да и вышел он с самого утра, и есть ему совсем не хотелось, и еще недавно стоял совсем светлый день, и вдруг такая тьма. «Коротки дни, коротки», — сказал он про себя и, соскользнув с санок, пошел к постоялому двору.

К счастью, на верхней ступеньке крыльца стоял хозяин, светя ему на встречу высоко поднятым фонарем. Мимоходом вспомнив о вознице, К. приостановился, но кашель донесся откуда-то из темноты, — видно, тот уже ушел. Ничего, наверно, скоро они где-нибудь встретятся. Только под-

нявшись на крыльцо к хозяину, подобострастно поздоровавшемуся с ним, К. увидел по обеим сторонам двери двух человек. Он взял фонарь из рук хозяина и осветил на них: это оказались те двое, которых он уже видел, их еще называли Иеремия и Артур. Они откозыряли ему. К. вспомнил военную службу — самые счастливые годы жизни — и засмеялся.

«Кто вы такие?» — спросил он, оглядывая их обоих. «Ваши помощники», — ответили они. «Да, помощники», — негромко подтвердил хозяин. «Как?» — спросил К. — Вы — мои старые помощники? Это вам я велел ехать за мной, это вас я ждал?» «Да», — сказали они. «Это хорошо», — сказал К., помолчав, — хорошо, что вы приехали. Однако, — добавил он, немного помолчав, — вы сильно запоздали, вы очень неаккуратны». «Дорога была дальняя», — сказал один из них. «Дорога дальняя?» — повторил К. — Но ведь я вас встретил, когда вы шли из Замка». «Да», — сказали оба, но ничего не объяснили. «А где у вас инструменты?» — спросил К. «У нас их нет», — ответили оба. «Как? Инструменты, которые я вам доверил?» — сказал К. «У нас их нет», — повторили они. «Ну что вы за люди! — сказал К. — Да знаете ли вы толк в землемерных работах?» «Нет», — сказали оба. «Но если вы мои прежние помощники, вы должны все уметь», — сказал К. Они промолчали. «Ну пойдете!» — сказал К. и втокнул их в дом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Варнава

Они сели втроем у маленького столика в зале и молча стали пить пиво. К. сидел посередине, оба помощника — справа и слева. В зале, как и вчера вечером, только еще за одним столом сидели крестьяне. «Трудно мне будет с вами», — сказал К., все время сравнивая лица своих помощников, — ну как мне вас отличать? Ведь вы только именами и отличаетесь, а вообще похожи как... — Он запнулся и нечаянно добавил: — Похожи, как две змеи». Помощники усмехнулись. «Обычно нас легко различают», — как бы оправдываясь, сказал один. «Верю», — сказал К., — сам был тому свидетелем, но у меня-то глаза свои, а мне вас никак не различить. Буду обращаться с вами как с одним человеком и звать обоих буду Артур, одного из вас ведь так и зовут, тебя, что ли?» «Нет», — сказал тот, — меня звать Иеремия». «Неважно», — сказал К., — все равно буду обоих звать Артур. Пошлю куда-нибудь Артура — вы оба и пойдете, поручу Артуру работу — оба за нее возьметесь, конечно, мне очень невыгодно, что я не могу вас использовать на

разных работах, но зато удобно: за все, что я вам поручу, будете нести ответственность вместе, нераздельно. Как вы работу поделите — мне безразлично, только никаких отговорок от каждого в отдельности я не приму, вы для меня — один человек». Оба подумали и сказали: «Нам это будет очень неприятно». «Еще бы! — сказал К. — Конечно, вам должно быть неприятно, но так оно и будет».

Уже несколько минут К. наблюдал, как вокруг их столика крадучись бродит один из крестьян, и, вдруг решившись, он подошел к одному из помощников и хотел что-то шепнуть ему на ухо. «Простите,— сказал К. и, хлопнув рукой по столу, встал,— это мои помощники, у нас сейчас совещание. Никто не имеет права нам мешать!» «Ох, виноват, виноват!» — испуганно проговорил крестьянин и задом попятился к своим товарищам. «Одно вы должны строго соблюдать,— сказал К., снова садясь на место,— ни с кем без моего позволения вы разговаривать не должны. Я здесь чужой, а раз вы — мои старые помощники, то и вы тут чужие. Поэтому мы, трое чужаков, должны держаться вместе. По рукам, что ли?» Оба с готовностью протянули ему руки. «Лапы уберите,— сказал К.,— а мой приказ остается в силе. Теперь я пойду сосну, да и вам советую лечь. Сегодня у нас пропал рабочий день, а завтра надо начинать пораньше. Достаньте сани, на них поедем в Замок, и чтобы к шести утра сани стояли перед домом». «Хорошо»,— сказал один, но второй вмешался: «Ты говоришь «хорошо», а сам знаешь, что это невозможно». «Тихо! — сказал К. — Вы, кажется, затеяли действовать вразнобой?» Но тут снова заговорил первый: «Он прав, это невозможно, в Замок посторонним без разрешения доступа нет». — «А где брать разрешение?» — «Не знаю, может, у кастеляна». — «Что же, будем звонить по телефону. А ну-ка, вы оба, звоните сейчас же кастеляну».

Оба бросились к телефону, вызвали номер — как они суетились, всем видом выражая послушание! — и спросили, можно ли К. с ними вместе завтра утром явиться в Замок. «Нет!» — прозвучало так громко, что донеслось до столика К. Ответ был еще решительнее, там добавили: «Ни завтра, ни в другой день». «Сам поговорю»,— сказал К., вставая. И хотя и К., и его помощники до сих пор особого интереса не возбуждали — не считая случая с тем крестьянином,— его последние слова вызвали всеобщее внимание. Все встали вместе с К., и, хотя хозяин старался их оттеснить, все столпились вокруг телефона. Большинство высказывало мнение, что К. вообще никакого ответа не получит. К. должен был попросить их замолчать, их мнения он вовсе не спрашивал.

В трубке послышалось гудение — такого К. никогда по телефону не

слышал. Казалось, что гул бесчисленных детских голосов — впрочем, это гудение походило не на гул, а скорее на пение далеких, очень-очень далеких голосов, — казалось, что это гудение каким-то совершенно непостижимым образом сливалось в единственный высокий и все же мощный голос, он бил в ухо, словно стараясь проникнуть не только в жалкий слух, но и куда-то глубже. К. слушал, не говоря ни слова, упершись левым локтем в подставку от телефона, и слушал, слушал...

Он не знал, как долго это длилось, но тут хозяин, дернув его за куртку, прошептал, что к нему пришел посыльный. «Уйди!» — не сдерживаясь, крикнул К., очевидно прямо в телефонную трубку, потому что ему тут же ответили. И произошел следующий разговор. «Освальд слушает, кто говорит?» — крикнул строгий, надменный голос. К. послышался какой-то дефект речи, который старались выправить излишней напускной строгостью. Назвать себя К. не решался, перед телефоном он чувствовал себя беспомощным, на него могли наорать, бросить трубку; К. закрыл себе немало-важный путь. Нерешительность К. раздражала его собеседника. «Кто говорит?» — повторил он и добавил: — Я был бы очень обязан, если бы отсюда меньше звонили, только что нас уже вызывали». К. не обратил внимания на эти слова и, внезапно решившись, доложил: «Говорит помощник господина землемера». — «Какой помощник? Какой господин? Какой землемер?» К. вдруг вспомнил вчерашний разговор по телефону. «Спросите Фрица», — отчеканил он. К собственному его удивлению, это помогло. Но еще больше, чем этому, удивился он единству тамошней службы. Ему сразу ответили: «Знаю». Вечно этот землемер. Да, да? А дальше что? Какой еще помощник?» «Йозеф», — сказал ему К. Ему очень мешало перешептывание крестьян за спиной, они, очевидно, были против того, что он неправильно доложил о себе. Но ему некогда было с ними препираться, разговор поглощал все его внимание. «Йозеф?» — переспросили отсюда. — Но ведь помощников зовут... — Маленькая пауза, как видно, там справлялись у кого-то об именах. — Артур и Иеремия». «Это новые помощники», — сказал К. «Да нет же, это старые». — «Нет, новые, а вот я старый, я приехал сегодня вслед за господином землемером». «Нет!» — крикнули в трубку. «Так кто же я такой?» — спросил К. все с тем же спокойствием. Наступила небольшая пауза, и тот же человек, с тем же недостатком речи, но совсем другим, глубоким и уважительным голосом проговорил: «Ты старый помощник».

Вслушиваясь в этот голос, К. чуть не пропустил вопрос: «А что тебе нужно?» Охотнее всего он положил бы трубку. От этих переговоров он все

равно ничего не ждал. Но тут он был вынужден что-то сказать и торопливо спросил: «А когда моему хозяину можно будет прийти в Замок?» «Никогда!» — прозвучал ответ. «Хорошо», — сказал К. и повесил трубку.

Крестьяне, стоявшие сзади, придвинулись совсем вплотную. Помощники, искоса поглядывая на него, были заняты тем, чтобы не подпускать крестьян слишком близко. Но делалось это явно для виду, да и сами крестьяне, удовлетворенные исходом разговора, медленно отступали. Вдруг в их толпу сзади быстрыми шагами врезался какой-то человек и, поклонившись К., передал ему письмо. Держа письмо в руке, К. оглядел посланца — ему это показалось важнее. Между ним и помощниками было большое сходство, он был так же строен, в таком же облегающем платье, так же быстр и ловок в движениях, как они, и вместе с тем он был совершенно другой. Лучше бы он достался К. в помощники! Чем-то он ему напоминал женщину с грудным младенцем, которую он видел у дубильщика. Одет он был почти что во все белое, и хотя платье было не из шелка — как и все другие, он был в зимнем, — но по мягкости, по праздничности это платье напоминало шелк. Лицо у него было светлое, открытое, глаза сверхъестественно большие. Улыбался он необыкновенно приветливо; он провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть эту улыбку, но ничего не вышло. «Кто ты такой?» — спросил К. «Зовут меня Варнава, — сказал тот. — Я посыльный».

Мужественно и вместе с тем нежно раскрывались и смыкались его губы, складывая слова. «Тебе здесь нравится?» — спросил К. и показал на крестьян, он еще не потерял интереса к ним с их словно нарочно исковерканными физиономиями — казалось, их били по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под влиянием боли от этого битья, — теперь они, приоткрыв отекавшие губы, то смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды блуждали по сторонам и останавливались где попало, уставившись на какой-нибудь предмет; и еще К. показал Варнаве на своих помощников — те стояли обнявшись, щекой к щеке, и посмеивались, то ли застенчиво, то ли с издевкой, и К. обвел всех их рукой, словно представляя свою свиту, навязанную ему обстоятельствами, и ожидая — этого доверия и добивался К., — чтобы Варнава раз и навсегда увидел разницу между ними и самим К.

Но Варнава с полнейшим простодушием — это сразу было видно — совсем не понял, что хотел сказать К.; он лишь воспринял жест К., как благовоспитанный слуга воспринимает каждое слово хозяина, даже непосредственно его не касающееся, и в ответ только послушно оглядел всех вокруг, помахал рукой знакомым крестьянам, обменялся несколькими словами с

помощниками — и все это свободно, непринужденно, не держась ото всех особняком. И К., как бы поставленный на место, но непристыженный, вспомнил о письме, которое он все еще держал в руках, и распечатал его.

В письме стояло: «Многоуважаемый господин! Как вам известно, вы приняты на службу к владельцу Замка. Вашим непосредственным начальником является сельский староста, который сообщит вам все ближайшие подробности о вашей работе и об условиях оплаты, перед ним же вы должны будете отчитываться. Вместе с тем и я постараюсь не терять вас из виду. Податель сего письма, Варнава, будет время от времени справляться о ваших пожеланиях и докладывать об этом мне. Вы встретите с моей стороны постоянную готовность по возможности идти вам навстречу. Я заинтересован, чтобы мои работники были довольны». Дальше шла неразборчивая подпись, но рядом печатными буквами стояло: «Начальник Н-ской канцелярии». «Погоди!» — сказал К. склонившемуся в поклоне Варнаве и крикнул хозяина, чтобы ему отвели комнату, — ему хотелось наедине разобраться в письме.

При этом он вспомнил, что при всей симпатии, какую он почувствовал к Варнаве, тот был всего лишь посыльным, и велел подать ему пива. К. проследил, как он это примет, но тот взял пиво с явным удовольствием и сразу выпил. К. пошел за хозяином. В этом домишке для К. не нашлось ничего, кроме чердачной каморки, да и это вызвало осложнения, потому что пришлось куда-то переселять двух служанок, спавших там до сих пор. Собственно говоря, там больше ничего не сделали, только выселили служанок; комната была не убрана, даже единственная кровать не постлана, на ней лежали лишь пара одеял да попона, оставшиеся с прошлой ночи. На стенах висело несколько религиозных картинок и фотографий солдат. Даже проветривать каморку не стали — видно, понадеялись, что новый постоялец надолго не задержится, и ничего не сделали, чтобы его удержать. Но К. был на все готов, он завернулся в одеяло, сел к столу и при свече стал перечитывать письмо.

Письмо было неодинаковое, в некоторых фразах к нему обращались как к свободному человеку, чью личную волю признают, — это выражалось в обращении и в той фразе, где говорилось о его пожеланиях. Но были такие выражения, в которых к нему скрыто или явно относились как к ничтожному, почти незаметному с высокого поста работнику, будто высокому начальству приходилось делать усилие, чтобы «не терять его из виду», а непосредственным его начальником оказался сельский староста, ему надо было даже отчитываться перед ним. И, чего доброго, его единственным сослу-

живцем станет сельский полицейский! Тут, безусловно, крылись противоречия настолько явные, что их, без сомнения, внесли в письмо нарочно. К. сразу отбросил безумную по отношению к столь высокой инстанции мысль, что у них были какие-то колебания. Скорее, он видел тут открыто предложенный ему выбор — ему предоставлялось сделать свои выводы из содержания письма: желает ли он стать работником в Деревне, с постоянно подчеркиваемой, но на самом деле только кажущейся связью с Замком, или же он хочет только внешне считаться работником Деревни, а на самом деле всю свою работу согласовывать с указаниями из Замка, передаваемыми Варнавой. К. не задумывался — выбор был ясен, он бы сразу решился, даже если бы за это время ничего не узнал.

Только работая в Деревне, возможно дальше от чиновников Замка, сможет он хоть чего-то добиться в Замке, да и те жители Деревни, которые пока еще так недоверчиво к нему относились, заговорят с ним иначе, когда он станет если не их другом, то хотя бы их односельчанином, и когда он перестанет отличаться от Герстекера или Лаземана — а такая перемена должна наступить как можно скорее, от этого все зависело, — тогда перед ним сразу откроются все пути, которые были для него не только заказаны, но и незримы, если бы он рассчитывал на господ оттуда, сверху, и на их милость.

Правда, тут таилась одна опасность, и в письме она была достаточно подчеркнута, даже с некоторым злорадством, словно избежать ее было невозможно. Это — положение рабочего. Служба, начальник, условия заработной платы, отчетность, работник — этими словами так и пестрело письмо, и даже когда речь шла о чем-то более личном, все равно и об этом говорилось с той же точки зрения. Если К. захочет стать рабочим, он может им стать, но уж тогда бесповоротно и всерьез, без всяких других перспектив. К. понимал, что никакой прямой угрозы тут нет, этого он не боялся, но, конечно, его удручала обстановка, привычка к постоянным разочарованиям, тяжелое, хоть и незаметное влияние каждой прожитой так минуты, и с этой опасностью он должен был вступить в борьбу. Письмо не обходило молчанием, что если этой борьбе суждено начаться, то К. уже имел смелость в нее вступить: сказано об этом было с тонкостью, и только человек с беспокойной совестью — именно беспокойной, а не нечистой! — мог это вычитать в трех словах, касавшихся его приема на работу: «как вам известно». К. доложил о себе, и с этого момента, говорилось в письме, он, как ему известно, был принят.

Сняв одну из картинок со стены, К. повесил письмо на гвоздик; в этой каморке ему жить, тут пусть и висит письмо.

Затем он спустился в зал. Варнава сидел с помощниками за столиком. «Ага, вот ты где», — сказал К. без всякого повода — он просто обрадовался, увидев Варнаву. Тот сразу вскочил. И все крестьяне тоже вскочили с мест при входе К. и стеснились вокруг него, видно, у них уже вошло в привычку ходить за ним по пятам. «Чего вам от меня нужно?» — крикнул К. Они не рассердились и медленно вернулись на свои места. Отходя, один из них сказал, как бы в объяснение, мимоходом, с непонятной усмешкой, отразившейся и на других лицах: «Того и гляди, услышишь какую-нибудь новость», — и облизнулся, как будто новость можно было съесть. К. воздержался от дружеского слова, ему нравилось, что он внушал к себе уважение, но стоило ему сесть рядом с Варнавой, как он почувствовал, что кто-то дышит ему в затылок: крестьянин сказал, что пришел взять соль. Но К. так на него топнул, что тот убежал без солонки. Было действительно нетрудно вывести К. из себя, стоило только напустить на него этих крестьян, их упрямое участие казалось еще хуже, чем замкнутость других, а кроме того, они были достаточно замкнуты: если бы К. сел к их столу, они бы немедленно поднялись и ушли. Только присутствие Варнавы мешало ему учинить скандал. Все же он угрожающе повернулся к ним, да и все они повернулись к нему. Но когда он увидел, как они все сидят, каждый на своем месте, не разговаривая друг с другом, без всякого видимого общения, связанные только тем, что все они не спускали с него глаз, ему показалось, что они преследуют его вовсе не из злого умысла; может быть, они и вправду хотели от него чего-то добиться, только сказать не умели, а может быть, все это было простым ребячеством, которое тут как будто всем было свойственно: разве не ребячливо вел себя сам хозяин — держа обеими руками стакан пива, предназначенный одному из посетителей, он усталился на К. и не слышал оклика хозяйки, высунувшейся из кухонного окошечка.

Уже спокойнее обратился К. к Варнаве. Он охотно удалил бы своих помощников, но не мог найти предлог. Впрочем, они молча уткнули глаза в свое пиво. «Насчет письма, — сказал К. — Я его прочел. Ты знаешь содержание?» «Нет», — сказал Варнава, и его взгляд говорил больше, чем его ответ. Может быть, К. ошибочно видел в нем слишком много хорошего, как в крестьянах — плохое, но ему было приятно его присутствие.

«Там и о тебе идет речь — тебе придется время от времени передавать сведения от меня начальству и обратно, потому я и решил, что ты знаешь содержание письма». «Мне только поручили передать письмо, — сказал Варнава, — и дожидаться, пока его прочтут; если тебе понадобится, отнести устный или письменный ответ». «Отлично, — сказал К., — в письменном

ответе нужды нет, передай господину начальнику... кстати, как его звать? Подпись я не разобрал». «Кламм», — ответил Варнава. «Так вот, передай господину Кламму мою благодарность за прием, а также за его исключительную любезность. Как человек, еще ничем себя не зарекомендовавший, я особенно это ценю. Я готов безоговорочно подчиниться его указаниям. Никаких особых желаний у меня нет». Варнава выслушал все внимательно и попросил разрешения повторить поручение. К. разрешил, Варнава все повторил слово в слово. Потом он встал и хотел попроситься.

К. все время всматривался в его лицо, а тут он посмотрел на него еще пристальней. Ростом Варнава был не выше К., и все же казалось, что смотрел он на него сверху, хотя и очень смиренно, — нелегко было представить себе, чтобы этот человек хотел кого-нибудь унижить. Правда, он был только посыльным, не знал даже содержания письма, порученного ему, но в его взгляде, в улыбке, в походке крылась тоже какая-то весть, хоть он о ней и не подозревал. И К. протянул ему руку, что его явно удивило, — он хотел ограничиться простым поклоном.

И как только он вышел — а прежде чем открыть двери, он еще на миг прислонился плечом к косяку и обвел комнату взглядом, ни к кому в отдельности не относившимся, — К. сказал помощнику: «Сейчас принесу из комнаты свои записи и обсудим план работы». Они хотели было пойти с ним, но К. сказал им: «Останьтесь». А когда они все же собрались идти за ним, он повторил приказ еще строже. В прихожей Варнавы уже не было. А ведь он только что вышел. Но и перед домом — снова пошел снег — К. его не увидел. Он крикнул: «Варнава!» Никакого ответа. Может быть, он еще в доме? Это казалось единственной возможностью. Но все-таки К. изо всех сил окликнул его по имени. Имя громом прокатилось в темноте. И уже издали послышался слабый отклик — так далеко ушел Варнава. К. снова позвал его к себе и сам пошел ему навстречу; когда они встретились, постоянный двор уже не был виден.

«Варнава, — сказал К. и не мог сдержать дрожь в голосе, — я хотел тебе еще кое-что сказать. По-моему, очень неудачно придумано, что моя связь с Замком зависит только от твоих случайных приходов. И если бы я сейчас тебя не догнал — а ты просто летаешь, я думал, что ты еще в доме, — то кто его знает, сколько мне пришлось бы ждать, пока ты снова появишься». «Но ведь ты можешь попросить начальника, чтобы я приходил в определенное время, когда ты назначишь», — сказал Варнава. «И этого недостаточно, — сказал К., — может быть, мне целый год нечего будет передать, а потом вдруг через четверть часа после твоего ухода возникнет что-нибудь неот-

ложное». «Так что же, — сказал Варнава, — доложить начальнику, чтобы он наладил с тобой другую связь, не через меня?» «Нет-нет, — сказал К., — вовсе нет, это я так, мимоходом, ведь сейчас, к счастью, я тебя догнал». «Не вернуться ли нам на постоялый двор, — сказал Варнава, — чтобы ты мне там дал новое поручение?» И он уже шагнул обратно к двору. «Не стоит, Варнава, — сказал К., — лучше я провожу тебя немного». «Почему ты не хочешь вернуться туда?» — спросил Варнава. «Мне там народ мешает, — сказал К. — Ты сам видел, какие они назойливые, эти крестьяне». «Можно пройти к тебе в комнату», — сказал Варнава. «Да это каморка для прислуги, — сказал К., — там грязно, душно, для того я и пошел за тобой, чтобы там не сидеть. Только разреши мне, — продолжал К., стараясь побороть смущение, — разреши взять тебя под руку, ты идешь уверенней». И К. взял его под руку. Было совсем темно, его лица К. не видел, вся его фигура неясно вырисовывалась в темноте, но К. постарался ощупью найти его руку.

Варнава не противился, и они пошли прочь от постоялого двора. Правда, К. чувствовал, что, несмотря на величайшие усилия, он не мог идти в ногу с Варнавой и задерживал его и что в обычной обстановке это незначительное обстоятельство могло бы все погубить, особенно если бы они попали в те проулки, где днем плутал в снегу К. и откуда теперь Варнаве пришлось бы выносить его на руках. Но К. старался не думать об этом, утешенный, кстати, и тем, что Варнава молчал, а раз они не разговаривали, значит, и для Варнавы оставалась только одна цель — идти вместе вперед.

Так они шли, но куда именно — К. не понимал: он ничего не мог узнать. Он даже не знал, прошли они церковь или нет. Приходилось затрачивать столько усилий на ходьбу, что своими мыслями он уже не владел. Вместо того чтобы сосредоточиться на одном, мысли путались в голове, непрестанно всплывали родные места, воспоминания переполняли его. И там на главной площади тоже стояла церковь, к ней с одной стороны примыкало кладбище, окруженное высокой оградой. Мало кто из мальчишек побывал на этой ограде, и К. еще не удалось туда забраться. Не любопытство гнало туда ребят — никакой тайны для них на кладбище не было. Не раз они туда заходили сквозь решетчатую дверцу, но им очень хотелось одолеть высокую гладкую ограду. И однажды днем — затихшая пустая площадь была залита солнцем, К. никогда ни раньше, ни позже не видел ее такой — ему неожиданно повезло: в том месте, где он так часто срывался, он с первой попытки залез наверх, держа в зубах флажок. Еще не осыпались камушки из-под ног, а он уже сидел наверху. Он воткнул флажок, ветер натянул ма-

терию, он поглядел вниз, и вокруг, и даже через плечо на ушедшие в землю кресты, и не было на свете никого храбрее, чем он. Случайно проходивший мимо учитель сердитым взглядом согнал К. с ограды. Соскакивая вниз, К. повредил себе колено, с трудом доковылял до дому, но на ограду он все-таки взобрался. Ощущение этой победы, как ему тогда казалось, будет всю жизнь служить ему поддержкой, и это было не так глупо: даже сейчас, через много лет, в снежную ночь, об руку с Варнавой, пришло оно на память.

Он крепче оперся на Варнаву — тот почти тащил его, оба не прерывали молчания. О пройденном пути К. мог судить только по состоянию дороги; ни в какие переулки они не сворачивали. Он решил про себя, что никакие трудности, даже страх обратного пути, не заставят его остановиться. Пусть его хоть волоком тащат — у него хватит сил выдержать и это. Неужели дороге нет конца? Днем Замок казался ему легкодоступной целью, а посыльный, наверно, знает самый короткий путь туда.

Вдруг Варнава остановился. Где они? Разве дальше ходу нет? Может быть, Варнава хочет распрощаться с К.? Нет, это ему не удастся. К. так крепко вцепился в руку Варнавы, что ему самому стало больно. Или, может быть, случилось самое невероятное, и они уже пришли в Замок или стоят у его ворот! Но насколько К. понимал, они совсем не подымались в гору. Или Варнава провел его по другой, пологой дороге? «Где мы?» — спросил К. больше про себя, чем вслух. «Дома», — сказал Варнава так же тихо. «Дома?» — «Смотри не поскользнься, сударь, тут спуск». — «Спуск?» «Тут всего два-три шага», — добавил Варнава и уже стучал в дверь.

Им открыла девушка, и они очутились на пороге большой комнаты, почти в темноте — только над столом, слева в углу, висела крошечная керосиновая лампочка. «Кто это с тобой, Варнава?» — спросила девушка. «Землемер», — ответил тот. «Землемер», — громче повторила девушка, обращаясь к сидевшим за столом. Оттуда поднялись двое стариков — мужчина и женщина — и еще одна девушка. Они поздоровались с К. Варнава представил ему всех — это были его родители и его сестры, Ольга и Амалия. К. едва взглянул в их сторону. С него сняли мокрое пальто и повесили сушить у печки; К. не сопротивлялся.

Значит, они вовсе не к цели пришли, просто Варнава вернулся к себе домой. Но зачем они зашли к нему? К. отвел Варнаву в сторону и спросил: «Зачем ты пришел домой? Или вы живете в пределах Замка?» «В пределах Замка», — повторил Варнава, словно не понимая, что говорит К. «Варнава, — сказал К., — ты же хотел с постоялого двора идти прямо в Замок». «Нет, сударь, — сказал Варнава, — я хотел идти домой, я только утром

хожу в Замок, я там никогда не ночую». «Вот оно что, — сказал К., — значит, ты не собирался идти в Замок, ты шел сюда?» Улыбка Варнавы показала ему бледнее, сам он — незначительней. «Почему же ты меня не предупредил?» «Да ты меня и не спрашивал, — сказал Варнава, — ты только хотел дать мне еще поручение, но не в общей комнате и не в своей камерке, вот я и подумал, что тут, у моих родителей, тебе никто не помешает передать мне все, что надо.

Сейчас они все выйдут, если ты прикажешь, а если тебе у нас больше нравится, ты и переночевать можешь тут. Разве я что-нибудь сделал не так?» К. ничего ответить не мог. Значит, все это обман, подлый, низкий обман, а К. так ему поддался. Околдовала его узкая, шелковистая куртка Варнавы, а сейчас тот расстегнул пуговицы, и снизу вылезла грубая, грязно-серая, латаная-перелатаная рубаха, обтягивавшая мощную, угловатую, костистую грудь батрака. И вся обстановка не только ничему не противоречила, но еще ухудшала впечатление, и старый подагрик отец, передвигавшийся скорее ощупью, при помощи рук, медленно шаркая окостеневшими ногами, и мать со сложенными на груди руками, еле-еле семенившая мелкими шажками из-за невероятной своей толщины. Оба они — и отец и мать — сразу, как только К. вошел, двинулись ему навстречу, но все еще никак не могли подойти поближе. Обе сестры — блондинки, похожие друг на друга и на Варнаву, только грубее чертами лица, высокие, плотные девки — обступили пришедших, дожидаясь хоть какого-нибудь приветствия от К. Но он ничего не мог выговорить: ему казалось, что тут, в Деревне, каждый человек что-то для него значил, да, наверно, так оно и было, и только эти люди никак его не касались.

И если бы он мог самостоятельно найти дорогу на постоялый двор, он тотчас же ушел бы отсюда. Его никак не привлекала возможность пойти в Замок с Варнавой утром. Он хотел бы проникнуть туда вместе с Варнавой незаметно, ночью, да и с тем Варнавой, каким он ему раньше казался, с человеком, который был ему ближе всех, кого он до сих пор здесь встречал, и о котором он, кроме того, думал, будто он, вопреки своей скромной с виду должности, тесно связан с замком. Но с членом подобного семейства, с которым он так неотъемлемо был связан — он уже сидел с ним за столом, — с человеком, которому явно не разрешалось даже ночевать в замке, с ним об руку, среди бела дня явиться в Замок было немислимо — смешное, безнадежное предприятие. К. присел на подоконник, решив провести так всю ночь и вообще никаких услуг от этого семейства не принимать. Жители Деревни, которые его прогоняли или испытывали перед ним страх, казались

ему гораздо менее опасными: они, в сущности, предоставляли его самому себе и тем помогали внутренне собрать все свои силы, но такие мнимые помощники, которые, вместо того чтобы отвести его в Замок, слегка замаскировавшись, вели к себе домой, такие люди его сбивали с пути, волей или неволей подтачивали его силы. На приглашение сесть к семейному столу К. не обратил внимания и, опустив голову, остался на своем подоконнике.

Тогда Ольга, более мягкая из сестер, даже с некоторой девичьей робостью, встала и, подойдя к К., попросила его к столу. Хлеб и сало уже нарезаны, пиво она сейчас принесет. «Откуда?» — спросил К. «Из трактира», — сказала она. К. обрадовался случаю. Он попросил ее не приносить пива, а просто проводить его до постоянного двора, у него там осталась важная работа. Однако выяснилось, что она собирается идти не так далеко, не на его постоянный двор, а в другую, гораздо более близкую гостиницу «Господский двор». Но К. все же попросился проводить ее, быть может, подумал он, там найдется место переночевать: какое бы оно ни было, он предпочел бы его самой лучшей кровати в этом доме. Ольга ответила не сразу и оглянулась на стол. Ее брат встал, кивнул с готовностью и сказал: «Что же, если господину так угодно!» Это согласие едва не заставило К. отказаться от своей просьбы: если Варнава соглашается, значит, это бесполезно. Но когда начали обсуждать, впустят ли К. вообще в гостиницу, и все высказали сомнение, К. стал настойчиво просить взять его с собой, даже не стараясь выдумать благовидный предлог для такой просьбы — пусть это семейство принимает его таким, какой он есть, он почему-то их совсем не стеснялся. Немного сбивала его только Амалия своим серьезным, прямым, неуступчивым, даже чуть туповатым взглядом. Во время недолгой дороги к гостинице — К. вцепился в Ольгу, иначе он не мог, и она его почти тащила, как раньше тянул ее брат, — он узнал, что эта гостиница, в сущности, предназначена только для господ из Замка, когда дела приводят их в Деревню, они там обедают, а иногда и ночуют. Ольга говорила с К. тихо и как бы доверительно, было приятно идти с ней, почти как раньше с ее братом. И хотя К. не хотел поддаваться этому радостному ощущению, но отделаться от него не мог.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Фрида

Гостиница была внешне очень похожа на постоянный двор, где остановился К. Видно, в Деревне вообще больших внешних различий ни в чем не

делали, но какие-то мелкие различия замечались сразу — крыльцо было с перилами, над дверью висел красивый фонарь. Когда они входили, над ними затрепетал кусок материи — это было знамя с графским гербом. В прихожей они сразу натолкнулись на хозяина, обходившего, как видно, помещения: своими маленькими глазками то ли сонно, то ли пристально он мимоходом оглядел К. и сказал: «Господину землемеру разрешается входить только в буфет». «Конечно, — сказала Ольга, тут же вступаясь за К., — он только провожает меня». Но неблагодарный К. отнял руку у Ольги и отвел хозяина в сторону. Ольга терпеливо осталась ждать в углу прихожей. «Я бы хотел здесь переночевать», — сказал К. «К сожалению, это невозможно, — сказал хозяин, — вам, очевидно, ничего не известно. Гостиница предназначена исключительно для господ из Замка». «Может быть, таково предписание, — сказал К., — но пристроить меня на ночь где-нибудь в уголке, наверно, можно». «Я был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу, — сказал хозяин. — Но, не говоря уже о строгости предписания, о котором вы судите как посторонний человек, выполнить вашу просьбу невозможно еще потому, что господа из Замка чрезвычайно щепетильны, и я убежден, что один вид чужого человека, особенно без предупреждения, будет им невыносим. Если я вам позволю тут переночевать, а вас случайно — ведь случай всегда держит сторону господ — увидят тут, то не только я пропал, но и вы сами тоже. Звучит нелепо, но это чистая правда».

Этот высокий, застегнутый на все пуговицы человек, который, оперев одну руку в стену, а другую в бок, скрестив ноги и слегка наклонившись к К., разговаривал с ним так доверительно, казалось, не имел никакого отношения к Деревне, хотя его темная одежда походила на праздничное платье крестьянина. «Я вам вполне верю, — сказал К., — да и важность предписания я никак не преуменьшаю, хотя и выразился несколько неловко. Но я хотел бы обратить ваше внимание только на одно: у меня в Замке значительные связи, и они вскоре станут еще значительнее, а это вас защитит от опасности, которая может возникнуть из-за моей ночевки тут, и мои знакомства вам порукой в том, что я в состоянии полностью отплатить за любую, хотя бы мелкую услугу». «Знаю, — сказал хозяин и повторил еще раз: — Это я знаю». К. уже хотел уточнить свою просьбу, но слова хозяина сбили его, и он только спросил: «А много ли господ из Замка ночует сегодня у вас?» «В этом отношении сегодня удачный день, — сказал хозяин как-то задумчиво, — сегодня остался только один господин». Но К. все еще не решался настаивать, хотя надеялся, что его уже почти приняли, и он только осведомился о фамилии господина из Замка. «Кламм», — сказал хозяин мимоходом и

обернулся навстречу своей жене, которая выплыла, шумя очень поношенным, старомодным платьем, — перегруженное множеством рюшей и складок, платье все же выглядело вполне нарядно, оно было городского покроя.

Она пришла за хозяином — господин начальник что-то желает ему сказать. Уходя, хозяин обернулся к К., словно решать вопрос о ночевке должен не он, а сам К. Но К. ничего не мог ему сказать, он совершенно растерялся, узнав, что именно его начальник оказался тут. Не отдавая себе отчета, он чувствовал себя гораздо более связанным присутствием Кламма, чем предписаниями Замка. К. вовсе не боялся быть тут пойманным в том смысле, как это понимал хозяин, но для него это было бы неприятной бестактностью, как если бы он из легкомыслия обидел человека, которому он обязан благодарностью; вместе с тем его очень удручало, что в этих его колебаниях уже явно сказывалось столь пугавшее его чувство подчиненности, зависимости от работодателя и что даже тут, где это ощущение было таким отчетливым, он никак не мог его побороть. Он стоял, кусая губы, и ничего не говорил. Прежде чем исчезнуть за дверью, хозяин еще раз обернулся и взглянул на К. Тот посмотрел ему вслед, не двигаясь с места, пока не подошла Ольга и не потянула его за собой. «Что тебе понадобилось от хозяина?» — спросила Ольга. «Хотел здесь переночевать», — сказал К. «Но ведь ты ночуешь у нас?» — удивилась Ольга. «Да, конечно», — сказал К. и представил ей самой разобраться в смысле этих слов.

В буфете — большой, посредине совершенно пустой комнате — у стен около пивных бочек и на них сидели крестьяне, но совершенно другие, чем на постоялом дворе, где остановился К. Они были одеты чище, в серо-желтых, грубой ткани платьях, с широкими куртками и облегающими штанами. Все это были люди небольшого роста, очень похожие с первого взгляда друг на друга, с плоскими, костлявыми, но румяными лицами. Сидели они спокойно, почти не двигаясь, и только неторопливым и равнодушным взглядом следили за вновь пришедшими. И все же оттого, что их было так много, а кругом стояла такая тишина, они как-то подействовали на К. Он снова взял Ольгу под руку, как бы объясняя этим свое появление здесь. Из угла поднялся какой-то мужчина, очевидно знакомый Ольги, и хотел к ней подойти, но К., прижав ее руку, повернул ее в другую сторону. Никто, кроме нее, этого не заметил, а она не противилась и только с улыбкой покосилась в сторону.

Пиво разливала молоденькая девушка по имени Фрида. Это была невзрачная маленькая блондинка, с печальными глазами и запавшими щеками, но К. был поражен ее взглядом, полным особого превосходства.

ПРИГОВОР

История для Фелиции Б.

Новелла

Это было воскресным утром, дивной весенней порой. Георг Бендеман, молодой коммерсант, сидел в своей комнате, во втором этаже одного из приземистых, наскоро построенных зданий, что вереницей протянулись вдоль реки, слегка отличаясь одно от другого разве лишь высотой и колером покраски. Он только что закончил письмо другу юности, обретавшемуся теперь за границей, с наигранной медлительностью заклеил конверт и, облокотившись на письменный стол, устремил взгляд за окно — на реку, мост и холмы на том берегу, подернувшиеся первой робкой зеленью.

Он размышлял о том, как его друг, недовольный ходом своих дел дома, несколько лет назад буквально сбежал в Россию. Теперь у него была своя торговля в Петербурге, заладившаяся поначалу очень даже споро, но уже давно — если верить сетованиям друга во время его наездов на родину, раз от разу все более редких — идущая ни шатко, ни валко. Так он и мыкался без всякого толку на чужбине, окладистая борода странно смотрелась на его столь близком, с детства знакомом лице, чья нездоровая желтизна наводила теперь на мысль о первых признаках подкрадывающейся болезни. Друг рассказывал, что с тамошней колонией земляков по сути не общается, ни с кем из местных семейств тоже знакомств не завел, так что окончательно и бесповоротно направил свою жизнь в холостяцкую колею.

О чем писать столь очевидно сбившемуся с пути человеку, которому впору посочувствовать, но помочь нечем? Допустим, посоветовать вернуться на родину, начать новую жизнь здесь, возобновив — к чему нет никаких препятствий — прежние отношения и положившись, среди прочего, на помощь друзей? Но это означало бы не что иное, как сказать ему, — чем мягче и бережней, тем для него болезненней, — что все прежние его начинания пошли прахом и надо поставить на них крест, пойти на попятный, вернуться сюда, где все будут опасно пялиться на него именно как на возвращенца,

и только немногие друзья отнесутся с пониманием, но и для них он навсегда останется лишь постаревшим ребенком, обреченным безропотно слушаться своих никуда не уезжавших приятелей, ибо те сумели преуспеть дома. Да и есть ли уверенность, что все мучения, которые невольно придется причинить другу подобным посланием, не окажутся напрасными? Удастся ли вообще стронуть его с места, выгнать домой, — ведь он сам не раз говаривал, что жизни на родине давно не понимает, — и тогда он, вопреки всему, останется на чужбине, только без нужды ожесточенный непрошеными советами и еще больше отдалившись от своих и без того далеких друзей. Если же он вдруг и в самом деле последует совету, но — и не просто по склонности натуры, а под гнетом обстоятельств — упадет здесь в нищету и уныние, не обретя себя ни с помощью приятелей, ни без них, страдая от стыда и унижений, теперь-то уж окончательно лишившись родины и друзей, — разве в таком случае не правильнее для него оставить все как есть и продолжать жить на чужбине? А учитывая все обстоятельства, возможно ли рассчитывать, что ему и впрямь удастся повернуть здесь свои дела к лучшему?

Исходя из всех этих соображений, получалось, что другу, если вообще поддерживать с ним переписку, ничего существенного, о чем без раздумий напишешь даже самым дальним знакомым, сообщать нельзя. Он уже больше трех лет не был на родине, крайне неубедительно объясняя свое отсутствие политическим положением в России, смутная ненадежность которого якобы исключает для мелкого предпринимателя возможность даже самой краткой отлучки, — и это во времена, когда сотни тысяч русских преспокойно разъезжают по всему свету. Между тем, именно за эти три года в жизни Георга очень многое переменялось. О кончине матери, последовавшей около двух лет назад, после чего Георгу пришлось зажить одним хозяйством с престарелым отцом, друг, видимо, еще успел узнать и выразил соболезнование письмом, странная сухость которого объяснялась, вероятно, лишь тем, что вдали, на чужбине, воспроизвести в душе горечь подобной утраты совершенно невозможно. Георг, однако, после этого события гораздо решительнее взялся за ум и за семейное дело. То ли прежде, при жизни матери, по-настоящему самостоятельно развернуться ему мешал отец, ибо признавал в делах только одно мнение, свое собственное. То ли сам отец после смерти матери, хоть и продолжал работать, стал вести себя потише, то ли, и это даже очень вероятно, судьбе охотнее обычного пособил счастливый случай, — как бы там ни было, а за эти два года семейное дело, против всех ожиданий, резко пошло в гору. Штат служащих пришлось удвоить,

оборот возрос впятеро, да и в грядущих успехах не приходилось сомневаться.

Друг, между тем, обо всех этих переменах понятия не имел. Прежде, — в последний раз, кажется, в том самом письме с соболезнованиями, — он все пытался уговорить Георга тоже перебраться на жительство в Россию, расписывая самые наилучшие виды, какие открываются в Петербурге именно в его, Георга, отрасли. А цифры при этом называл ничтожные в сравнении с объемами, которыми ворочает теперь Георг в своем магазине. Тогда Георгу не хотелось расписывать другу свои деловые успехи, а сейчас, задним числом, это тем более выглядело бы странно.

Вот он и ограничивался тем, что писал другу о всякой ерунде, какая без порядка и смысла всплывает в памяти в покойные воскресные часы. Хотелось одного: ни в коем случае не потревожить образ родного города, сложившийся в представлении друга за годы отсутствия, каковым представлением друг, похоже, и предпочитал довольствоваться. В итоге как-то само собой вышло, что о предстоящей помолвке совершенно безразличного ему знакомого со столь же безразличной ему барышней Георг с довольно большими промежутками уведомил друга уже в трех письмах, вследствие чего тот, что никак в намерения Георга не входило, оным курьезным пустяком даже весьма заинтересовался.

И все же Георг предпочитал писать о подобной чепухе, нежели признаться, что сам вот уже месяц как помолвлен — с мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи. Он, кстати, часто беседовал с невестой об этом своем друге и о странностях их переписки.

— Выходит, он даже на свадьбу не придет? — удивлялась та. — Мне кажется, я вправе увидеть всех твоих друзей.

— Да не хочется его беспокоить, — отвечал Георг. — Пойми меня правильно, он наверняка придет, по крайней мере, мне хочется так думать, но придет безо всякой охоты, будет чувствовать себя обделенным, а может, и завидовать мне, и, не в силах устранить саму причину огорчения, конечно же, будет огорчен, что снова возвращается домой один. Один — ты хоть понимаешь, что это значит?

— Но разве не может он прослышать о нашей свадьбе от кого-то еще?

— Что ж, предотвратить этого я не могу, однако при его образе жизни это маловероятно.

— При таких друзьях, Георг, тебе вовсе не стоило бы жениться.

— Да, это наша общая с тобой провинность, но даже сейчас мне не хотелось бы ничего менять.

А немного погодя, когда она, прерывисто дыша под его поцелуями, произнесла: «И все-таки меня это задевает», — он подумал, что и вправду ничего обидного не совершит, если начистоту напишет другу все как есть.

«Ну да, я такой, пусть таким меня и принимает, не могу же я перекроить себя в другого человека, более способного к дружбе».

И действительно, в просторном письме, написанном в это воскресное утро, Георг уведомил друга о своей помолвке вот в каких словах: «А самое радостное известие я припас напоследок. Я заключил помолвку с одной барышней, мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, которая поселилась в наших краях много позже твоего отъезда, так что вряд ли ты ее знаешь. При случае я еще расскажу о своей невесте подробнее, сегодня тебе довольно услышать, что я весьма счастлив, а в наших с тобой отношениях переменится лишь одно: вместо самого заурядного друга у тебя теперь будет счастливый друг. Вдобавок и в моей невесте, которая на днях сама тебе напишет, а сейчас шлет сердечный привет, ты обретешь задушевную подругу, что для холостяка отнюдь не безделица. Я знаю, многое удерживает тебя от приезда в родные места. Но разве моя свадьба — не подходящий повод хоть однажды махнуть рукой на все препоны? Впрочем, как бы ты ни решил, ты в любом случае волен поступать без церемоний, сугубо по своему усмотрению».

С этим-то письмом в руках Георг и замер в долгом раздумье за письменным столом, устремив взор за окно. Знакомцу, который, проходя внизу по улице, с ним поздоровался, он едва ответил отрешенной улыбкой.

Наконец, сунув письмо в карман, он вышел из комнаты и наискосок по коридорчику направился в комнату к отцу, куда не заглядывал уже несколько месяцев. Особой нужды туда заглядывать не было, ведь они с отцом постоянно виделись в магазине. И обедали в одно и то же время в одном трактире, хотя ужинали порознь, по своему хотению и вкусу, но после еще какое-то время сживали вместе в общей гостиной, каждый за своей газетой, если только Георг, как это чаще всего и бывало, не проводил вечер с друзьями или, как намечалось нынче, в гостях у невесты.

Георг удивился, до чего темно в отцовской комнате даже этим солнечным днем. Вот, значит, как застит свет высоченная стена, нависающая над их узким двориком. Отец сидел у окна в углу, где были собраны и развешены вещицы и фотографии в память о покойной матери, и читал газету, причем держал ее перед собой не прямо, а вкось, подлаживаясь глазами к какой-то старческой немощи зрения. На столе Георг разглядел остатки завтрака: судя по их виду, поел отец без всякого аппетита.

— А-а, Георг, — встrepенулся отец и тотчас направился ему навстречу.

На ходу его тяжелый халат распахнулся, полы широко раскрылись. «Отец у меня все еще богатырь» — успел подумать Георг.

— Здесь же темень несусветная, — вымолвил он чуть позже.

— Верно, темень, — отозвался отец.

— А у тебя еще и окно закрыто?

— Мне так лучше.

— На улице-то совсем тепло, — как бы в подкрепление сказанному заметил Георг, присаживаясь.

Отец принялся убирать со стола посуду, переставляя ее на комод.

— Я только хотел сказать тебе, — продолжал Георг, рассеянно, но неотрывно следя за стариковскими движениями отца, — что все-таки написал в Петербург о своей помолвке.

Он на секунду за самый краешек извлек конверт из кармана и тут же уронил его обратно.

— В Петербург? — переспросил отец.

— Ну да, моему другу, — пояснил Георг, стараясь перехватить отцовский взгляд. «В магазине-то он совсем не такой, — пронеслось у него в голове. — Вон как расселся, вон как руки на груди скрестил».

— Ну да. Твоему другу, — повторил отец со значением.

— Ты же знаешь, отец, я сперва хотел эту новость от него утаить. По одной только причине: щадил его чувства. Сам знаешь, человек он тяжелый. Вот я и сказал себе: если он просльшит о моей свадьбе от кого-то еще, что при его замкнутом образе жизни маловероятно, тут уж ничего не поделаешь, но сам я покамест ничего сообщать ему не стану.

— А теперь, значит, опять передумал? — проговорил отец, откладывая на подоконник пухлую газету, а на газету очки, которые для верности прикрыв ладонью.

— Да, теперь опять передумал. Я сказал себе: если он мне настоящий друг, то счастье моей помолвки и для него будет счастьем. А коли так, самое время обо всем ему сообщить без околичностей. Только вот, прежде чем письмо отправить, тебе зашел сказать.

— Георг, — проговорил отец, странно распяливая беззубый рот, — послушай-ка меня. Ты зашел по делу, зашел посоветоваться. Что, несомненно, делает тебе честь. Только это пшик и даже хуже, чем пшик, если ты, придя посоветоваться, не говоришь мне всей правды. Не стану касаться вещей, которые к делу не относятся. Хотя после смерти нашей незабвенной, дорогой матери кое-какие некрасивые вещи имели место. Может, еще при-

дет время обсудить и их, причем скорее, чем мы думаем. Я стал кое-что упускать в делах, а может, от меня кое-что и скрывают, — хотя мне не хотелось бы думать, что от меня что-то скрывают, — у меня уже и силы не те, и память не та. Столько дел — я не могу, как раньше, все удержать в голове. Во-первых, годы, с природой не поспоришь, а во-вторых, смерть нашей ма-тушки потрясла меня куда сильнее, чем тебя. — Но коль скоро мы обсуждаем это дело, говорим об этом письме, прошу тебя, Георг, не надо меня обманывать. Это ведь мелочь, она не стоит и вдоха, поэтому не обманывай меня. Разве у тебя и вправду есть друг в Петербурге?

От растерянности Георг встал.

— Оставим лучше моих друзей. Будь их хоть тысяча, они не заменят мне родного отца. Знаешь, о чем я подумал? Ты совсем себя не щадишь. А возраст все-таки заявляет свои права. В деле мне без тебя не обойтись, ты прекрасно это знаешь; но если работа угрожает твоему здоровью, я прикрою магазин завтра же. Так не пойдет. Нам следует переменить твой образ жизни. Причем в корне. Ты сидишь здесь в темноте, хотя в гостиной тебе было бы светло и уютно. Тебе надо как следует питаться, а ты едва притронулся к завтраку. Ты сидишь при закрытом окне, когда тебе надо дышать свежим воздухом. Нет, отец! Я позову врача, и мы во всем станем следовать его предписаниям. Мы поменяемся комнатами, ты переедешь в мою, а я переберусь сюда. Ни малейших перемен ты не почувствуешь, мы перенесем отсюда туда все как есть. Впрочем, это пока не к спеху, а сейчас лучше приляг ненадолго, тебе обязательно нужно отдыхать. Дай-ка, я помогу тебе раздеться, вот увидишь, у меня получится. Или хочешь сразу перейти в мою комнату, тогда мы пока что уложим тебя на мою кровать. Пожалуй, это будет самое правильное.

Георг стоял над отцом почти вплотную; тот замер в кресле, тяжело пону-рив на грудь седую, всклокоченную голову.

— Георг, — произнес отец тихо, по-прежнему не шевелясь.

Георг тотчас опустился перед отцом на колени: огромные, зияющие зрачки смотрели с утомленного отцовского лица искоса, но в упор.

— Нет у тебя никакого друга в Петербурге. Ты всегда был выдумщик, и теперь вот не удержался, даже отца решил разыграть. Ну откуда у тебя — и друг в Петербурге! В жизни не поверю.

— Да ты лучше вспомни, отец, — увещевал Георг, приподнимая отца с кресла и, пока тот стоял, слабый и опешивший от растерянности, ловко снимая с него халат, — скоро почти три года пройдет, как этот мой друг нас навещал. Помню, ты вообще-то не особенно его жаловал. По крайней мере

дважды мне пришлось сказать тебе, что у нас никого нет, хотя он в это время как раз в моей комнате сидел. Причем я даже понимал тогда твою неприязнь, этот мой друг — он со странностями. Но иногда ты вполне благосклонно с ним беседовал. Я, помню, ужасно гордился, что ты вообще его выслушиваешь, киваешь, вопросы задаешь. Ты подумай хорошенько и обязательно вспомнишь. Он рассказывал невероятные истории о русской революции. К примеру, о беспорядках в Киеве, где он был в деловой поездке и своими глазами видел, как священник, стоя на балконе, прямо у себя на ладони вырезал крест и воззвал к толпе, вскинув перед собой окровавленную руку. Ты потом сам не раз эту историю пересказывал.

Тем временем Георгу удалось снова усадить отца и осторожно стянуть с него трикотажные штаны, которые тот носил поверх подштаников, и снять носки. При виде несвежего исподнего ему стало совестно: он совсем запустил отца. Разумеется, следить за отцовским бельем — тоже его обязанность. С невестой он еще ни разу всерьез не обсуждал, как они обустроят отцовское будущее, но молчаливо подразумевалось, что отец останется жить на старой квартире один. Сейчас в порыве внезапной решимости Георг твердо вознамерился приютить отца в их будущем жилище. Ведь, приглядевшись пристальнее, впору едва ли не опасаться, как бы забота и уход, уготованные старику на новом месте, не оказались запоздалыми.

Георг на руках понес отца в постель. Прodelывая недолгий путь до кровати, он чуть не обомлел от ужаса, когда понял, что прильнувший к его груди старец поигрывает цепочкой его часов. Даже уложить отца удалось не сразу — с такой силой он за эту цепочку ухватился.

Но едва он очутился в постели, все вроде бы уже снова сделалось хорошо. Отец сам укрылся, а потом и с особой тщательностью укутал одеялом плечи. И на Георга теперь, снизу, смотрел вроде бы поласковее.

— Верно ведь, ты его уже припоминаешь? — спросил Георг и ободряюще кивнул отцу.

— Я хорошо укрыт? — спросил отец, будто не в силах сам взглянуть, не торчат ли из-под одеяла ноги.

— Видишь, тебе в кровати уже нравится, — приговаривал Георг, аккуратно подтыкая одеяло.

— Я хорошо укрыт? — со значением, будто от ответа многое зависит, спросил отец снова.

— Да успокойся же, ты укрыт хорошо.

— Нет! — вскричал отец, мощью голоса разом перекрывая ответ Георга и, отбросив одеяло с такой силой, что оно на миг развернулось в воздухе це-

ликом, вскочил на кровати в полный рост и так воздвигся, лишь слегка придерживаясь за потолок рукой. — Ты хотел бы меня укрыть, навеки укрыть, я знаю, отродьце мое, но нет, пока что я еще не укрыт. Сил моих, пусть и последних, на тебя-то хватит, даже с лихвой! А этого дружка твоего я прекрасно знаю. Да, вот такой сынок был бы мне по сердцу. Потому-то ты и обманывал его все эти годы. А зачем бы еще? Думаешь, я не проливал о нем слезы? Ты для того и запираешься у себя в кабинете, — «прошу не беспокоить, хозяин занят», — лишь бы строчить там свои лживые письма в Россию. По счастью, отцу, чтобы сына насквозь видеть, никакая наука не нужна. Ты-то, как я погляжу, уверился, будто родителя вконец скрутил, настолько подмял, что хоть на голову ему садись, а он и не пикнет, и коли так, сынок наш, хозяин-барин, жениться надумал!

Снизу вверх Георг взирал на отца, ужасаясь его чудовищному преображению. Петербургский друг, которого отец, оказывается, так хорошо знает, завладел его помыслами, как никогда прежде. Где-то вдали он пропадал на бескрайних просторах России. Стоял у дверей своей пустой, разграбленной лавки. Пока еще стоял — среди поломанных полок, распотрошенных товаров, вывороченных из стен газовых рожков. Ну зачем, зачем ему понадобилось уезжать в такую даль!

— Да ты посмотри на меня! — гаркнул отец, и Георг, словно завороченный, кинулся к кровати, стараясь все ухватить на лету, но на полпути запнулся.

— Она юбки подняла, — затынул вдруг отец нараспев глумливым голосом. — Она юбки подняла, гнусная бабенка, — и для вящей убедительности он задрал нижнюю рубаху, до того высоко, что обнажился даже шрам на бедре, след от раны, еще с войны. — Она юбки подняла и так, и так, и так, а ты и рад попользоваться, но чтоб совсем без помех утолять на ней свою похоть, ты осквернил память нашей матери, предал друга, а отца запихнул в постель, пусть лежит и не шевелится. Ну как, может он еще пошевелиться или нет?

Молодецки распрямившись, он приплясывал, лихо вскидывая ноги. И при этом торжествующе сиял — до того ему собственная выдумка понравилась.

Георг замер в углу, как можно дальше от отца. Чуть раньше, несколько долгих мгновений назад, он твердо решил, что будет смотреть в оба, дабы ничто и ниоткуда, ни сзади, ни сбоку, ни сверху, не обрушилось на него врасплох. Теперь он вдруг снова вспомнил об этом своем решении и тут же

снова позабыл — так ускользает из игольного ушка слишком короткая нитка.

— А друг все-таки еще не предан! — вскричал отец, в подтверждение своих слов вздевая над головой трясуций указательный палец. — Здесь, на месте, его поверенным был я!

— Комедиант! — не удержался от выкрика Георг, в тот же миг, но все равно слишком поздно, пожалев о промашке — он даже язык прикусил, да так сильно, что от боли потемнело в глазах и чуть не подкосились ноги.

— Ну да, разумеется, я ломал комедию! Комедия! Словечко-то какое славное. А чем еще прикажешь потешить себя овдовевшему старику-отцу? Скажи-ка, — и пока будешь отвечать, как сын ты для меня все еще жив, — а что мне еще оставалось делать, в убогой задней каморке, замшелому старику, затравленному собственными, когда-то такими верными служащими? В то время как сын мой разгуливает гоголем, заключает сделки, подготовленные еще мною, купается в удовольствиях, а из дома выходит с непроницаемой физиономией порядочного человека, не удостоив отца даже взглядом? Или, думаешь, я, родитель твой, тебя не любил?

«Сейчас он подался вперед, — осенило Георга. — Хоть бы упал и расшибся». Последнее слово пронеслось в голове со змеиным шипением.

Отец подался вперед, покачнулся, но не упал. А заметив, что Георг и не подумал бежать ему на поддержку, выпрямился снова.

— Стой, где стоишь, не больно ты мне нужен! Думаешь, ты в силах подойти, а в углу жмешься только потому, что тебе так хочется? Смотри, не просчитайся! Я по-прежнему гораздо сильнее тебя. Один я, может, еще и спасовал бы, но теперь за мной и сила нашей матери, и с дружкой твоим я отлично поладил, и все клиенты твои у меня в кармане!

«У него даже в нижней рубахе карманы», — изумился Георг, попутно успев почему-то подумать, что одним этим наблюдением можно опозорить отца на весь свет. Но и эта странная мысль промелькнула лишь на миг и тут же забылась, ибо сейчас он забывал все и сразу.

— Только попробуй попасться мне на глаза со своей невестой под ручку! Я просто смету ее с пути, а ты и охнуть не успеешь!

Георг скривил гримасу — мол, так он и поверил. Отец в ответ, неотрывно глядя в его угол, только грозно закивал в знак того, что именно так все и будет.

— Как же ты сегодня меня потешил, когда пришел спрашивать, писать или не писать дружку о помолвке! Дурачок, он же и так все знает, он все знает и так! Это я ему пишу, ведь ты же не сообразил, да и не осмелился

отобрать у меня перо и бумагу. Потому-то он уже столько лет и не приезжает, он все знает во сто раз лучше, чем ты сам. Твои письма он, не читая, одной левой комкает, а мои берет правой рукой и читает внимательно! — От воодушевления рука его взмыла над головой. — Он все знает в тысячу раз лучше! — выкрикнул отец.

— В десять тысяч! — съязвил Георг, желая поддразнить отца, но даже в нем самом, еще не успев сорваться с уст, слова эти прозвучали до смерти серьезно.

— А я-то который год жду, когда же сынок пожалует ко мне с этим вопросом! Думаешь, хоть что-то еще меня волнует? Думаешь, я читаю газеты? Вот! — и он швырнул Георгу газетный лист, бог весть какими судьбами завалившийся в постели. Какая-то старая газета, Георг даже названия такого не помнил. — Долго же ты мешкал, прежде чем решиться! Мать умерла, так и не дождавшись заветного денечка, друг там в своей России вконец пропадает, уже три года назад весь желтый был, краше в гроб кладут, ну а я — сам видишь, на кого я стал похож. Или ты даже этого не замечаешь?

— Так ты, значит, все время меня выслеживал! — выкрикнул Георг.

С жалостью в голосе и как бы между прочим отец бросил:

— Ты это, наверно, раньше хотел сказать. Сейчас-то оно совсем нестати. — И, уже громче, продолжал: — Итак, теперь ты знаешь, что было помимо тебя, ведь прежде ты, кроме себя самого, ни о чем знать не желал. По сути, ты был невинным дитятей, но еще более по сути ты был сам дьявол в образе человеческом. А посему знай: я приговариваю тебя к смерти утопленника!

В тот же миг Георг почувствовал, как его выносит из комнаты, и только грохот, с которым отец рухнул на кровать, все еще гулом стоял у него в ушах. Внизу лестницы, по ступеням которой он скатился вниз, словно с пологой горки, он вспугнул служанку, что направлялась наверх прибрать квартиру после ночи. «Господи Иисусе!» — вскрикнула та и даже закрыла лицо фартуком, но Георга уже и след простыл. Со двора он вылетел пулей, прямо через мостовую его понесло к воде. В перила он вцепился, будто голодный в пищу. Он перемахнул через них, словно отличный гимнаст, каким, к вящей гордости родителей, и был в юности. Слабеющими руками он все еще держался за прутья, сквозь которые до него донесся рокот приближающегося омнибуса, чей мотор своим ревом легко перекроет шорох и всплеск его падения. Он успел тихо крикнуть:

— Дорогие родители, ведь я всегда любил вас, — и расцепил руки.

Движение на мосту в этот миг было поистине нескончаемое.

СБОРНИК «СОЗЕРЦАНИЕ»

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

Я слышал, как за садовой решеткой тархтели телеги, а порой и видел их в слабо колышущиеся просветы листвы. Как звонко потрескивали этим звонким летом их деревянные спицы и дышла! Работники возвращались с полей, они так гоготали, что мне неловко было слушать. Я сидел на маленьких качелях, отдыхая под деревьями в саду моих родителей.

А за решеткой не унималась жизнь. Дети пробежали мимо и вмиг исчезли: груженные доверху возы с мужчинами и женщинами — кто наверху на снопах, кто сбоку на грядках — отбрасывали тени на цветочные клумбы: а ближе к вечеру я увидел прохаживающегося мужчину с палкой: несколько девушек, гулявших под руку, поклонились ему и почтительно отступили на поросшую травой обочину.

А потом в воздух взлетела, словно брызнула, стайка птиц; провожая их глазами, я видел, как они мгновенно взмыли в небо, и мне уже казалось, что не птицы поднимаются ввысь, а я проваливаюсь вниз. От овладевшей мной слабости я крепко ухватился за веревки и стал покачиваться. Но вот повеяло прохладой, и в небе замигали звезды вместо птиц — я уже раскачивался вовсю.

Ужинаю я при свече. От усталости кладу ложки на стол и вяло жую свой бутерброд. Теплый ветер раздувает сквозные занавеси, иногда кто-нибудь, проходя за окном, придерживает их, чтобы лучше меня увидеть и что-то сказать. А тут и свеча гаснет, и в тусклой дымке чадающего фитилька еще некоторое время кружат налетевшие мошки. Если кто-нибудь за окном обращается ко мне с вопросом, я гляжу на него, как глядят на далекие горы или в пустоту, да и мой ответ вряд ли его интересует.

Но если кто влезает в окно и говорит, что все в сборе перед домом, тут уж я со вздохом встаю из-за стола.

— Что ты вздыхаешь? Что случилось? Непоправимая беда? Безысходное горе? Неужто все пропало?

Ничего не пропало. Мы выбегаем из дому.

- Слава богу! Наконец-то!
- Вечно ты опаздываешь!
- Я опаздываю?
- А то нет?
- Сидел бы дома, раз неохота с нами!
- Значит, пощады не будет?
- Какой пощады? Что ты мелешь?

Мы ныряем в вечерний сумрак. Для нас не существует ни дня, ни ночи. Мы то налетаем друг на друга, и пуговицы наших жилеток скрежещут, как зубы, то мчимся вереницей, держась на равном расстоянии, и дышим огнем, словно звери в джунглях. Будто кирасиры в былых войнах, мы, звонко цоккая и высоко поднимая ноги, скачем по улице и с разбегу вырываемся на дорогу. Несколько мальчиков спустились в канаву и, едва исчезнув в тени откоса, уже выстроились, точно чужие, на верхней тропе и оттуда глядят на нас.

- Эй, вы, спускайтесь!
- Нет уж, давайте вы сюда!
- Это чтобы нас сбросили под откос? И не подумаем! Нашли дураков!
- Скажи уж прямо, что боишься! Смелей!
- Бояться? Вас? Много на себя берет! И не с такими справлялись!

Мы кидаемся в атаку, но, встретив сильный отпор, падаем или скатываемся в травянистую канаву. Здесь все равномерно прогрето дневным зноем, мы не чувствуем в траве ни тепла, ни холода, а только безмерную усталость.

Стоит повернуться на правый бок и подложить кулак под голову, и тебя смаривает сон. Но ты еще раз пытаешься встряхнуться, вытягиваешь шею и вздергиваешь подбородок — чтобы провалиться в еще более глубокую яму. Потом выбрасываешь руки и слабо взбрыкиваешь ногами, словно готовясь вскочить, — и проваливаешься еще глубже... И кажется, этой игре конца не будет.

Но вот ты уже в самой «глубокой» яме, тут бы и уснуть по-настоящему, растянуться во всю длину, а главное — выпрямить ноги в коленях, — но сна как не бывало; ты лежишь на спине, точно больной, сдерживая подступающие слезы, и только помаргиваешь, когда кто из ребят, прижав локти к бокам, прыгает с откоса на дорогу и его черные подошвы мелькают над тобой в воздухе.

Луна забралась выше; облитая ее сиянием, проехала почтовая карета. Сорвался легкий ветерок, он пробирает и в канаве; где-то невдалеке зашумел лес. Одиночество уже не доставляет удовольствия.

- Эй, где вы?
- Сюда! Сюда!
- Собирайтесь все вместе!
- Что ты прячешься, что за дурацкая фантазия?
- Разве вы не слышали, почта проехала!
- Как, уже проехала?
- Ну ясно! Когда она проезжала, ты видел третий сон!
- Это я спал? Будет врать!
- Лучше ты помалкивай. Ведь и по лицу видно!
- Что пристал?
- Пошли!

Мы бежим гурьбой, кое-кто держится за руки, приходится закидывать голову как можно выше, так как дорога идет под уклон. Кто-то испустил боевой клич индейцев, ноги сами несут нас в бешеном галопе, ветер подхватывает на каждом прыжке. Ничто не может нас удержать. Мы так разбежались, что, обгоняя друг друга, складываем руки на груди и спокойно озираемся по сторонам.

Останавливаемся мы перед мостиком, переброшенным через бурный ручей; те, кто убежал вперед, вернулись. Вода, омывающая корни и камни, бурлит, точно днем, не верится, что уже поздний вечер. Кое-кому не терпится залезть на перила мостика.

Из-за кустарников в отдалении вынырнул поезд, все купе освещены, окна приспущены. Кто-то затащил веселую песенку — тут каждому захочется петь. Мы поем куда быстрее, чем идет поезд, и, так как голоса не хватает, помогаем себе руками. Наши голоса звучат вразнобой, и нам это нравится. Когда твой голос сливается с другими, кажется, будто тебя поймали на крючок.

Так мы поем, спиной к лесу, лицом к далеким пассажирам. Взрослые в деревне еще не ложились, матери стелят на ночь.

Пора и по домам. Я целую стоящего рядом, пожимаю две-три ближайšie руки и стремглав бегу назад, пока никто меня не окликнул. На первом же перекрестке, где меня уже никто не увидит, поворачиваю и тропками пускаюсь обратно к лесу. Меня тянет город к югу от нас, о котором в деревне не перестают судачить.

- И люди же там! Представьте, никогда не спят!
- А почему не спят?
- Они не устают!
- А почему не устают?

- Потому что дураки.
- Разве дураки не устают?
- А с чего дуракам устать?

РАЗОБЛАЧЕННЫЙ ПРОХОДИМЕЦ

Наконец-то, часам к десяти, мы с моим спутником — я был с ним едва знаком, но он и сегодня будто невзначай за мной увязался и добрых два часа таскал меня по улицам — подошли к господскому дому, куда я был приглашен провести вечер.

— Ну вот, — сказал я, хлопнув в ладоши в знак того, что мне окончательно пора уходить. Я и до этого делал попытки с ним расстаться, но не такие решительные. Он меня ужасно утомил.

— Торопитесь наверх? — спросил он. Из рта у него послышался странный звук, будто лязгнули зубы.

— Да! Тороплюсь!

Я был зван в гости, о чем сразу же предупредил, и мне следовало давно уже быть наверху, где меня ждали, а не стоять у ворот, глядя куда-то вбок, мимо ушей моего случайного спутника. А тут мы еще замолчали, словно расположились здесь надолго. Нашему молчанию вторили обступившие нас дома и темнота на всем пространстве от крыш до самых звезд. И только шаги невидимых прохожих, чьи пути-дороги были мне безразличны, и ветер, прижимавшийся к противоположной стороне улицы, и граммофон, надрывавшийся за чьими-то запертыми окнами, распоряжались этой тишиной, словно они от века и навек ее полновластные хозяева.

Мой провожатый покорился неизбежности и с улыбкой, говорившей о сожалении — как его, так и якобы моем, — вытянул руку вдоль каменной ограды и, закрыв глаза, прислонился к ней головой.

Но я не стал провожать его улыбку взглядом — внезапный стыд заставил меня отвернуться. Только по улыбке догадался я, что передо мной самый обыкновенный проходимец из тех, что обманывают простаков. А ведь я не первый месяц в городе, мне ли не знать эту братию! Я не раз наблюдал, как такой пройдоха вечерами показывается из-за угла, гостеприимно протирая руки, словно трактирщик; как он толчется у афишной тумбы, перед которой вы стали, будто играет в прятки, но уже непременно хоть одним глазком подглядывает за вами; как на перекрестках, где вы невольно теряетесь, он выскакивает точно из-под земли и ждет вас на самом краю тротуа-

ра. Уж я-то вижу их насквозь, ведь это были мои первые городские знакомые, встреченные в захудалых харчевнях, и это им я обязан первыми уроками той неуступчивости, которая, как я успел убедиться, присуща всему на земле, так что я уже ощущаю ее и в самом себе. Такой субъект станет против вас и не сдвинется с места, хоть вы давно от него ускользнули и некого больше обманывать. Он не сядет, не ляжет и не упадет наземь, а все будет пляться на вас, стараясь обмануть и на расстоянии! И у всех у них одни и те же приемы: станут поперек дороги, стараясь отвлечь вас от вашей цели, предлагая взамен для постоя собственную грудь; а когда вы наконец придете в ярость, бросятся к вам с распахнутыми объятиями.

И эти-то надоевшие фокусы я лишь сегодня распознал, до одури навзвись с тем субъектом. Я изо всех сил тер себе кончики пальцев, стараясь стряхнуть этот позор.

А субъект все стоял, прислонясь к стене, по-прежнему полагая себя пройдохой, и довольство собой румянило его щеки,

— Вы разгаданы! — крикнул я и даже легонько хлопнул его по плечу.

А потом взбежал по лестнице, и беспричинно преданные лица слуг в прихожей были для меня приятной неожиданностью. Я смотрел на одного, на другого, пока они снимали с меня пальто и обмахивали мне штiblеты. А потом вздохнул с облегчением и, выпрямившись во весь рост, вошел в гостиную.

ВНЕЗАПНАЯ ПРОГУЛКА

Вечером, когда ты, кажется, окончательно решил остаться дома, надел халат, сидишь после ужина за освещенным столом и занялся такой работой или такой игрой, закончив которую обычно ложишься спать, когда погода на дворе стоит скверная, так что сам Бог велит не выходить из дому, когда ты уже так долго просидел за столом, что своим уходом сейчас удивил бы, когда и на лестнице уже темно и парадное заперто, а ты, несмотря на все это, с внезапным недовольством встаешь, меняешь халат на пиджак, сразу оказываешься одетым для выхода, объявляешь, что должен уйти, и после краткого прощания уходишь и вправду, вызвав у оставшихся большее или меньшее, в зависимости от поспешности, с какой ты захлопнул за собой дверь, раздражение, когда ты приходишь в себя на улице и все части твоего тела отвечают на эту уже нежданную свободу, которую ты им дал, особой подвижностью, когда чувствуешь, что одним этим решением ты собрал в

себе всю отпущенную тебе решительность, когда с большей, чем обычно, ясностью понимаешь, что ведь у тебя больше силы, чем потребности легко совершить и вынести самую быструю перемену, и когда так шагаешь по длинным улицам — тогда ты на этот вечер полностью отрешаешься от своей семьи, она уходит в бесплотность, а сам ты, до черноты резко очерченным монолитом, всю подхлестывая себя, поднимаешься к истинному своему облику. Все это только усиливается, если в этот поздний вечерний час навестишь друга, чтобы посмотреть, как живет ему.

РЕШЕНИЯ

Вырваться из жалкого состояния легко, наверно, даже нарочитым усилием. Я сорвусь с кресла, обегу стол, пошевелю головой и шеей, зажгу огонь в глазах, напрягу мышцы вокруг них. Буду противодействовать каждому чувству, бурно приветствовать А., если он сейчас явится, любезно терпеть Б. у себя в комнате, жадными глотками, несмотря на боль и тягость, впивать в себя все, что скажет В.

Но даже если это удастся, с каждой ошибкой — а они неизбежны — все это, и легкое, и трудное, будет стопориться, и мне придется вернуться по кругу назад.

Поэтому все же самое правильное — сносить все, быть незыблемым, как тяжелая масса, и, даже если чувствуешь, что тебя как бы ветром сдуло, не трепыхаться напрасно, глядеть на другого взглядом животного, не чувствовать раскаяния, короче, собственноручно подавить то, что еще в виде призрака осталось от жизни, то есть умножить в себе последний, совсем уже могильный покой и не признавать ничего, кроме него.

Характерный жест такого состояния — это движение проведенного над бровями мизинца.

ПРОГУЛКА В ГОРЫ

— Не знаю, — воскликнул я беззвучно, — я же не знаю. Раз никто не идет, так никто и не идет. Я никому не сделал зла, мне никто не сделал зла, но помочь мне никто не хочет. Никто, никто. Ну и подумаешь. Только вот никто не поможет мне, а то эти Никто-Никто были бы даже очень приятны. Я бы очень охотно — почему нет? — совершил прогулку в компании таких

Никто-Никто. Разумеется, в горы, куда же еще? Сколько их, и все они прижимаются друг к другу, сколько рук, и все они переплелись, схватились вместе, сколько ног, и все они топчутся вплотную одна к другой. Само собой, все во фраках. Вот так мы и идем. Ветер пробирается всюду, где только между нами осталась щелочка. В горах дышится так свободно! Удивительно еще, что мы не поем.

ГОРЕ ХОЛОСТЯКА

До чего кажется скверно — остаться холостяком, в старости, с трудом сохраняя достоинство, просить, чтобы тебя приняли, если тебе захотелось провести вечер с людьми, болеть и неделями смотреть из угла своей постели на пустую комнату, всегда прощаться перед парадным, никогда не взбираться по лестнице рядом с женой, иметь в своей комнате лишь боковые двери, которые ведут в чужие жилища, приносить домой свой ужин в одной руке, любоваться чужими детьми и не смей непрерывно повторять: «У меня нет их», уподобляться по внешности и повадкам одному или двум холостякам из воспоминаний молодости.

Так оно и будет, только и в самом деле выступать в этой роли сегодня и потом будешь ты сам, с телом и головой, а значит, и со лбом, чтобы хлопать по нему ладонью.

КУПЕЦ

Возможно, и есть такие, в которых я возбуждаю чувство жалости, но я этого не ощущаю. Моя небольшая торговая контора требует от меня столько забот, что голова трещит, а особых перспектив я не вижу, ведь дело-то у меня очень небольшое. Я уже заранее должен обо всем распорядиться, следить, чтобы приказчик ничего не забыл, предостеречь его от возможных ошибок и каждый сезон учитывать моды следующего, и не то, что будут носить в моем узком кругу, а то, что понравится далекому провинциальному покупателю.

Мои деньги в чужих руках; обстоятельства этих людей мне неизвестны; я не могу предвидеть, какая беда на них обрушится; как же я могу ее предотвратить? Что, если одних обуял дух расточительства и они кутят где-нибудь

в ресторане, а другие не сегодня завтра сбегут в Америку, а пока кутят вместе с ними?»

Когда наконец вечером, после рабочего дня, я запираю свою контору и мне вдруг становится ясно, что в течение нескольких часов я не буду трудиться на пользу своего дела, требующего от меня непрерывных хлопот, вот тут-то ко мне возвращается, словно отхлынувшая обратно волна, остаток той энергии, которой я зарядился с утра; меня распирает от этой ни на что не направленной энергии, она рвется наружу и увлекает меня за собой.

Однако я не могу воспользоваться таким своим настроением; все, что я могу сделать, — это пойти домой, потому что лицо и руки у меня грязные и потные, костюм в пятнах и пыли, на голове рабочая кепка, а на ногах башмаки, исцарапанные гвоздями от ящиков. Я несусь как на волнах, прищелкиваю пальцами то одной, то другой руки, глажу по головке встречающих детишек.

Но идти мне недалеко. Я уже дома, открываю дверцу лифта и вхожу в кабину.

И вижу, что я вдруг совершенно один. Другие, которым приходится подыматься пешком, утомляются и не могут отдышаться, дожидаясь, пока им отворят дверь, у них есть повод для недовольства и раздражения, они входят в переднюю, вешают шляпу, идут по коридору мимо нескольких застекленных дверей к себе в комнату и только там оказываются одни.

А я уже сейчас в лифте один и смотрю, опершись на колени, в узенькое зеркало. Когда лифт начинает подыматься, я говорю:

«Успокойтесь, отойдите куда вам хочется, под сень деревьев, за оконные портьеры, в зелень беседок!»

Я говорю с озлоблением. А за матовыми стеклами кабины скользят вниз лестничные перила, словно течет быстрая река.

«Летите прочь; пусть ваши крылья, которых я ни разу не видел, унесут вас в деревню или в Париж, если уж вас так тянет туда.

Но посмотрите в окно, когда со всех трех улиц на площадь вливаются демонстрации, не уступая друг другу дороги, перепутываясь, а за их последними рядами уже снова возникает пустая площадь. Машите платками, возмущайтесь, умиляйтесь, славьте нарядную даму, проезжающую мимо.

Перейдите по деревянному мостику через речушку, улыбнитесь купающимся детям, порадитесь громовому «ура» тысячи матросов на дальнем крейсере.

Пойдите следом за незаметным прохожим и, затачив в подворотню,

ограбьте его, а потом, засунув руки в карманы, поглядите каждый, как он печально побредет дальше и свернет за угол.

Скачущие врассыпную полицейские осаживают коней и не оттесняют вас. Ну и пусть, безлюдные улицы портят им настроение. Вот пожалуйста, они уже едут обратно по двое в ряд, шагом огибают угол улицы, вскачь несутся через площадь».

Пора выходить. Я спускаю лифт, звоню, горничная открывает дверь, и я здороваюсь с ней.

РАССЕЯННО ГЛЯДЯ В ОКНО

Что будем делать в эти весенние дни, которые теперь быстро наступают? Сегодня утром небо было серое, а подойдя к окну сейчас, удивляешься и прижимаешься щекой к ручке окна.

Внизу видишь свет уже, правда, низкого солнца на лице девочки, которая идет и оглядывается, и одновременно видишь на нем тень мужчины, который ее догоняет.

Но вот уже мужчина прошел, и лицо ребенка совсем светлое.

ДОРОГА ДОМОЙ

Вот она, убедительность воздуха после грозы! Мои заслуги предстают передо мной и подавляют меня, хотя я и не упираюсь.

Я шагаю, и мой темп — это темп этой стороны улицы, этой улицы, этого квартала. Я по праву ответствен за всякий стук в двери, по крышкам столов, за все застольные здравицы, за влюбленные пары в своих постелях, в лесах новостроек, прижатые в темных улицах к стенам домов, на кушетках борделей.

Я оцениваю свое прошлое в сравнении со своим будущим, но и то и другое нахожу превосходным, ни того, ни другого не могу предпочесть и порицаю лишь несправедливость Провидения, которое так благоволит ко мне.

Только войдя в свою комнату, я становлюсь немного задумчив, хотя ничего такого, о чем бы стоило задуматься, я, поднимаясь по лестнице, не нашел. Мне не очень помогает то, что окно настезь открыто и что в каком-то саду еще играет музыка.

СБОРНИК «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ

Я был в крайнем затруднении: надо было срочно выезжать, в деревне за десять миль ждал меня тяжелобольной, на всем пространстве между ним и мною мела непроглядная вьюга, у меня имелась повозка, легкая, на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог; запахнувшись в шубу, с саквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать, но лошади, лошади у меня не было! Моя собственная лошадка, не выдержав тягот и лишений этой суровой зимы, околела прошлой ночью; служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня; безнадежная попытка, как я и предвидел, — и все гуще заносимый снегом и все больше цепenea в неподвижности, я бесцельно стоял и ждал. Но вот и служанка, одна, она еще в воротах помахала мне фонарем; ну еще бы, сейчас да в такую дорогу разве кто одолжит мне лошадь! Я еще раз прошелся по двору, но так ничего и не придумал; озабоченный, я по рассеянности толкнул ногой шаткую дверцу, ведущую в заброшенный свиной хлев. Она открылась и захлопала на петлях. Из хлева понесло теплом и словно бы лошадиным духом. Тусклый фонарь качался на веревке, подвешенной к потолку. В низеньком чуланчике, согнувшись в три погибели, сидел какой-то дюжий малый, он повернулся и оставил на меня свои голубые глаза.

— Прикажете запрягать? — спросил он, выползая на четвереньках.

Я не знал, что ответить, и только нагнулся поглядеть, нет ли там еще чего. Служанка стояла рядом.

— Богачу и невдомек, что у него припасено в хозяйстве, — сказала она, и оба мы засмеялись.

— Э-гей, Братец, э-гей, Сестричка! — крикнул конюх, и два могучих коня, прижав ноги к брюху и клоня точеные головы, как это делают верблюды, играя крутыми боками, едва-едва друг за дружкой протиснулись в

дверной проем. И сразу же выпрямились на высоких ногах; от их лоснящейся шерсти валил густой пар.

— Помоги ему, — сказал я, и услужливая девушка поспешила подать конюху сбрую.

Но едва она подошла, как он обхватил ее и прижался лицом к ее лицу. Девушка вскрикнула и бросилась ко мне; на щеке ее красными рубцами отпечатались два ряда зубов.

— Ах, скотина! — крикнул я в ярости. — Кнута захотел?

И тут же спохватился, что этот человек мне совсем незнаком, что я не знаю, откуда он взялся, и что он сам вызвался мне помочь, когда все другие отказались. Словно угадав мои мысли, конюх пропустил угрозу мимо ушей и, все еще занятый лошадьми, на мгновение обернулся ко мне.

— Садитесь, — сказал он; и в самом деле, все готово.

На такой отличной упряжке, как я замечаю, мне еще не приходилось выезжать, и я охотно сажусь.

— Править буду я сам, ты не знаешь дороги, — заявляю я.

— А как же, я и не поеду с вами, — говорит он, — останусь с Розой.

— Нет! — вскричала Роза и в страшном предчувствии своей неотвратимой участи кинулась в дом; я слышал, как бренчит цепочка, которой она закладывает дверь, слышу, как щелкает замок; вижу, как, скрываясь от погони, она тушит огонь в прихожей, а затем и в других комнатах.

— Ты едешь со мной, — говорю я конюху, — или я откажусь от поездки, как она ни нужна. Уж не вообразил ли ты, что я отдам девушку в уплату за услугу?

— Эй, залетные! — крикнул он, хлопнул в ладоши, и повозку помчало, как несет щепку быстрым течением; я еще слышу, как дверь дома трещит и рассыпается под ударами конюха, и тут равномерный пронзительный свист оглушает все мои чувства, наполняя глаза и уши. Но это длится лишь мгновение; не успеваю оглянуться, как я уже у цели, словно ворота моей усадьбы открываются прямо во двор больного; лошади стоят смирно; вьюга утихла; светит луна; отец и мать больного выходят мне навстречу; за ними бежит его сестра, меня чуть ли не на руках выносят из повозки; я не понимаю их сбивчивых объяснений; в комнате больного нечем дышать; щелястая печь дымит; я решаю открыть окно, но сперва хочу осмотреть больного. Это худенький мальчик, без рубашки, температура нормальная, не высокая и не низкая, глаза пустые, он высовывается из-под пуховой перинки, обнимает меня за шею и шепчет на ухо:

— Доктор, позволь мне умереть.

Я оглядываюсь; никто этого не слышал; родители стоят молча, понурясь и ждут моего приговора; сестра принесла стул для саквояжика. Я открываю его и роюсь в инструментах; мальчик поминутно тянется ко мне рукой с кровати, напоминая о своей просьбе; я беру пинцет, проверяю его при свете свечи и кладу обратно. «Да, — думаю я в кощунственном исступлении, — именно в таких случаях приходят на помощь боги, они посылают нужную тебе лошадь, а заодно впопыхах вторую и уже без всякой нужды разоряются на конюха...» И только тут вспоминаю Розу; что делать, как спасти ее, как вытащить из-под этого конюха — в десяти милях от дома, с лошадьми, в которых сам черт вселился? С лошадьми, которые каким-то образом ослабили постромки, а теперь неведомо как распахнули снаружи окна; обе просунули головы в комнату и, невзирая на переполох во всем семействе, разглядывают больного. «Сейчас же еду домой», — решаю я, словно лошади меня зовут, но позволяю сестре больного, которой кажется, что я оглушен духотой, снять с меня шубу. Передо мной ставят стаканчик рому, старик треплет меня по плечу — столь великая жертва дает ему право на фамильярность. Я качаю головой, от предстоящего разговора с этим утлым старичком меня заранее мутит; только поэтому предпочитаю я не пить. Мать стоит у постели и манит меня; я послушно прикладываю голову к груди больного, — между тем как одна из лошадей звонко ржет, задрав морду к потолку, — и мальчик вздрагивает от прикосновения моей мокрой бороды. Все так, как я и предвидел: мальчик здоров, разве что слегка малокровен, заботливая мамаша чересчур усердно накачивает его кофе, тем не менее он здоров, следовало бы тумаком гнать его из постели. Но я не берусь никого воспитывать, пусть валяется! Я назначен сюда районными властями и честно тружусь, можно даже сказать — через край. Хоть мне платят гроши, я охотно, не щадя себя, помогаю бедным. А тут еще забота о Розе, мальчик, пожалуй, прав, да и мне в пору умереть. Что мне делать здесь этой нескончаемой зимой?! Лошадь моя пала, и никто в деревне не одолжит мне свою. Приходится в свинарнике добывать себе упряжку; не подвернись мне эти лошади, я поскакал бы на свиньях. Вот как обстоит дело! Я киваю семейству. Они не знают о моих горестях, а расскажи им — не поверят. Рецепты выписывать нетрудно, трудно сговориться с людьми.

Что ж, пора кончать визит, снова меня зря потревожили, ну да мне не привыкать стать, при помощи моего ночного колокольчика меня терзает вся округа, а на этот раз пришлось поступиться даже Розой, этой милой девушкой, — сколько лет она у меня в доме, а я ее едва замечал — нет, эта жертва чересчур велика, и я пускаю в ход самые изощренные доводы, чтобы как-то

себя урезонить и не наброситься на людей, которые при всем желании не могут вернуть мне Розу. Но когда я захопываю саквояжик и кивком прошу подать мне шубу, между тем как семейство стоит и ждет — отец обнюхивает стаканчик рома, он все еще держит его в руке, мать, по-видимому глубоко разочарованная — но чего, собственно, хотят эти люди? — со слезами на глазах, кусает губы, а сестра помахивает полотенцем, насквозь пропитанным кровью, — у меня возникает сомнение, а не болен ли в самом деле мальчик? Я подхожу, он улыбается мне навстречу, словно я несущему крепчайшего бульону, — ах, а теперь заржали обе лошади, возможно, они призваны свыше наставить меня при осмотре больного — и тут я вижу: мальчик действительно болен. На правом боку, в области бедра, у него открытая рана в ладонь величиной. Отливая всеми оттенками розового, темная в глубине и постепенно светлея к краям, с мелко-пузырчатой тканью и неравномерными сгустками крови, она зияет, как рудничный карьер. Но это лишь на расстоянии. Вблизи я вижу, что у больного осложнение. Тут такое творится, что только руками разведешь. Черви длиной и толщиной в мизинец, розовые, да еще и вымазанные в крови, копошатся в глубине раны, извиваясь на своих многочисленных ножках и поднимая к свету белые головки. Бедный мальчик, тебе нельзя помочь! Я обнаружил у тебя большую рану; этот пагубный цветок на бедре станет твоей гибелью. Все семейство счастливо, оно видит, что я не бездействую; сестра докладывает это матери, мать — отцу, отец — соседям, видно, как в лучах луны они на цыпочках, балансируя распростертыми руками, тянутся в открытые двери.

— Ты спасешь меня? — рыдая, шепчет мальчик, потрясенный ужасным видом этих тварей в его ране.

Таковы люди в наших краях. Они требуют от врача невозможного. Стариую веру они утратили, священник заперся у себя в четырех стенах и рвет в клочья церковные облачения; нынче ждут чудес от врача, от слабых рук хирурга. Что ж, как вам угодно, сам я в святые не напрашивался; хотите принести меня в жертву своей вере — я и на это, готов; да и на что могу я надеяться, я, старый сельский врач, лишившийся своей служанки? Все в сборе, семья и старейшины деревни, они раздевают меня; хор школьников во главе с учителем выстраивается перед домом и на самую незатейливую мелодию поет:

Разденьте его, и он исцелит,
А не исцелит, так убейте!
Ведь это врач, всего лишь врач...

И вот я перед ними нагой; запустив пальцы в бороду, спокойно, со склоненной головою, гляжу я на этих людей. Ничто меня не трогает, я чувствую себя выше их и радуюсь своему превосходству, хоть мне от него не легче, так как они берут меня за голову и за ноги и относят в постель. К стене, с той стороны, где рана, кладут меня. А потом все выходят из комнаты; дверь закрывается; пение смолкает; тучи заволакивают луну; я лежу под теплым одеялом; смутно маячат лошадиные головы в проемах окон.

— Знаешь, — шепчет больной мне на ухо, — а ведь я тебе не верю. Ты такой же незадачливый, как я, ты и сам на ногах не держишься. Чем помочь, ты еще стеснил меня на смертном ложе! Так и хочется выцарапать тебе глаза.

— Ты прав, — говорю я, — и это позор! А ведь я еще и врач! Что же делать? Поверь, и мне нелегко.

— И с таким ответом прикажешь мне мириться? Но такова моя судьба — со всем мириться. Хорошенькой раной наградили меня родители; и это все мое снаряжение.

— Мой юный друг, — говорю я, — ты не прав; тебе недостает широты кругозора. Я, побывавший у постели всех больных в нашей округе, говорю тебе — твоя рана суший пустяк: два удара топором под острым углом. Многие бы с радостью подставили бедро, но они только смутно слышат удары топора в лесу и не приближаются.

— Это в самом деле так или я брежу? Ты не обманываешь больного?

— Это истинная правда; возьми же с собою туда честное слово сельского врача.

И он взял его — и затих. Но пора было думать о моем спасении. Лошади по-прежнему верно стояли на посту. Я собрал в охапку платье, шубу и саквояжик; одеваться я не стал, это бы меня задержало; если лошади помчат отсюда с такой же быстротой, как сюда, я, можно сказать, пересяду из этой кровати в свою. Одна из лошадей послушно отошла от окна; я кинул свой узел в коляску; шуба пролетела мимо и только рукавом зацепилась за какой-то крючок. Ничего, сойдет. Вскрываю на лошадь. Упряжь волочится по земле, лошади еле связаны друг с другом, коляска треплется из стороны в сторону, шуба последней бороздит снег.

— Эй, залетные! — кричу, но какое там: медленно, словно дряхлые старики, тащимся мы по снежной пустыне; долго еще провожает нас новая, но уже запоздалая песенка детей:

Веселитесь, пациенты,
 Доктор с вами лег в постель!

Этак мне уже не вернуться домой; на моей обширной практике можно поставить крест; мой преемник меня ограбит, хоть и безо всякой пользы, ведь ему меня не заменить; в доме у меня заправляет свирепый конюх; Роза в его власти; мне страшно и думать об этом. Гольный, выставленный на мороз нашего злосчастливого века, с земной коляской и неземными лошадьми, мыкаюсь я, старый человек, по свету. Шуба моя свисает с коляски, но мне ее не достать, и никто из этой проворной сволочи, моих пациентов, пальцем не шевельнет, чтобы ее поднять. Обманут! Обманут! Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика — и дела уже не поправишь!

НОВЫЙ АДВОКАТ

В наших рядах объявился новый адвокат — д-р Буцефал. Мало что в его наружности напоминает время, когда он был боевым конем Александра Македонского. Однако люди сведущие кое-что и замечают. А недавно в парадном подъезде суда я даже видел, как простоватый служитель наметанным глазом скромного, но усердного завсегдатая скачек с восхищением следил за адвокатом, когда тот, подрагивая ляжками, звенящим шагом поднимался по мраморной лестнице ступенька за ступенькой.

В общем коллегия адвокатов одобряет включение Буцефала в наше словие. С редким пониманием люди говорят себе, что Буцефалу трудно при нынешних порядках и он уже хотя бы поэтому, не говоря о его всемирно-историческом значении, заслуживает участия. В наше время, согласитесь, нет великого Александра. Убивать, правда, и у нас умеют; искусство пронзить копьем друга через банкетный стол тоже достаточно привилось; и многим тесно в Македонии, они проклинают Филиппа-отца, но никому, никому не дано повести нас в Индию. Уже и тогда ворота в Индию были недостижимы, но, по крайней мере, дорогу указывал царский меч. Ныне ворота перенесены в другое место — дальше и выше, — но никто не укажет вам дороги; меч вы увидите в руках у многих, но они только размахивают им, и взгляд, готовый устремиться следом, теряется и никнет.

Поэтому всего разумнее поступить, как Буцефал, — погрузиться в книги законов. Сам себе господин, свободный от шенкелей властительного всадника, он при тихом свете лампы, далеко от гула Александровых боев, читает и перелистывает страницы наших древних фолиантов.

НОВЕЛЛЫ И ПРИТЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОСМЕРТНО

ОПИСАНИЕ ОДНОЙ БОРЬБЫ

И по гальке вперевалку
Нарядившись ходят люди
Под огромным этим небом,
Что к холмам совсем далеким
От холмов простерлось дальних.

I

Около двенадцати часов некоторые уже поднялись, поклонились, пожали друг другу руки, сказали, что было очень приятно, и вышли через большой дверной проем в переднюю одеваться. Хозяйка стояла посреди комнаты, подвижно кланяясь, а ее платье ложилось изящными складками.

Я сидел за маленьким столиком — у него были три вытянутые тонкие ножки, — прикладываясь к третьей рюмочке бенедиктина и одновременно оглядывая свой небольшой запас печенья, которое я сам выискал и наложил себе, ибо оно имело тонкий вкус.

Тут ко мне подошел мой новый знакомый и, немного рассеянно улыбувшись при виде моего занятия, сказал дрожащим голосом:

— Простите, что я подошел к вам. Но до сих пор я сидел один со своей девушкой в соседней комнате. С половины одиннадцатого, совсем не так долго. Простите, что я это говорю вам. Мы же не знаем друг друга. Не правда ли, мы встретились на лестнице и сказали друг другу несколько вежливых слов, а теперь я уже говорю вам о своей девушке, но вы должны мне — прошу вас — простить, счастье рвется из меня наружу, я ничего не мог поделать. А так как у меня нет других знакомых, которым я доверяю...

Так он говорил. А я огорченно посмотрел на него — ибо кусок фруктового торта, который находился у меня во рту, был невкусен — и сказал ему в его красиво раздумянившееся лицо:

— Я рад, что кажусь вам достойным доверия, но огорчен тем, что вы

мне это рассказываете. И вы сами — не будь вы в таком смятении — почувствовали бы, как это неуместно — рассказывать человеку, который сидит в одиночестве и пьет водку, о любимой девушке.

Когда я это сказал, он вдруг сел, откинулся и плетью опустил руки. Потом, согнув в локтях, прижал их к себе и довольно громким голосом заговорил как бы с самим собой:

— Мы сидели там совсем одни... в комнате... с Аннерль, и я целовал ее... целовал... ее... в губы... целовал ухо... плечи.

Несколько мужчин, стоявших поблизости и решивших, что идет какой-то оживленный разговор, зевая, подошли к нам. Поэтому я встал и громко сказал:

— Хорошо, если вы хотите, я пойду, хотя глупо идти сейчас на Лаврентьеву гору, ведь погода еще холодная, а поскольку выпало немного снега, дороги скользки как каток. Но если вы хотите, я пойду с вами.

Сперва он удивленно посмотрел на меня и открыл рот с широкими и красными влажными губами. Но затем, увидев мужчин, которые были уже совсем близко, засмеялся, встал и сказал:

— О, ничего, холод на пользу, наша одежда вся пропитана жаром и дымом, да и я, наверно, немного пьян, хотя пил мало, да, мы попросаемся и уйдем.

Мы подошли к хозяйке, и, когда он целовал ей руку, она сказала:

— Право, я рада, что сегодня у вас такое счастливое лицо, обычно оно серьезное и скучающее.

Доброта этих слов тронула его, и он еще раз поцеловал ей руку; она улыбнулась.

В передней стояла горничная, мы увидели ее сейчас в первый раз. Она подала нам пальто и взяла затем фонарик, чтобы осветить нам на лестнице. Девушка эта была красива. Шея у нее была обнажена и только под подбородком обвязана черной бархатной лентой, а ее просторно одетое тело красиво изгибалось, когда она спускалась перед нами по лестнице, светя фонариком. Ее щеки разругались, ибо она выпила вина, а ее губы были полуоткрыты.

Внизу лестницы она поставила фонарик на ступеньку, пошатываясь, шагнула к моему знакомому и обняла, и поцеловала его, и задержалась в объятье. Лишь когда я вложил ей в руку монету, она сонно оторвалась от него, медленно открыла маленькую дверь подъезда и выпустила нас в ночь.

Над пустой, равномерно освещенной улицей стояла большая луна на

слегка облачном и от этого еще более широком небе. Лежал снежок. Ноги при ходьбе скользили, поэтому надо было делать маленькие шаги.

Как только мы вышли на воздух, я заметно взбодрился. Я шаловливо задираю ноги, треща суставами, выкрикивал на всю улицу какое-то имя, словно от меня за углом скрылся приятель, подпрыгивая, бросал вверх шляпу и хвастливо подхватывал ее.

А мой знакомый невозмутимо шел рядом. Голова его была опущена. И он ничего не говорил.

Это удивило меня, ибо я ожидал, что радость выведет его из себя, когда вокруг него не станет людей. Я притих. Только я собрался одобрительно хлопнуть его по плечу, как меня охватил стыд, и я неловко отдернул руку. Поскольку она не была мне нужна, я сунул ее в карман пальто.

Итак, мы шли молча. Я следил за звуками наших шагов и не понимал, что мне невозможно идти с ним в ногу. Это немного волновало меня. Луна была ясная, все было видно отчетливо. Там и сям кто-нибудь глядел в окно и рассматривал нас.

Когда мы пришли на улицу Фердинанда, я заметил, что мой знакомый стал напевать какую-то мелодию; совсем тихо, но я услышал. Я нашел это оскорбительным для себя. Почему он не говорил со мной? А если он во мне не нуждался, почему он нарушил мой покой? Я с досадой вспомнил о славных сластях, которые я из-за него оставил на столике. Я вспомнил также о бенедиктине и немного повеселел, почти, можно сказать, заважничал. Я подбоченился и вообразил, что гуляю по собственному почину. Я был в гостях, спас от позора одного неблагодарного молодого человека и теперь гуляю при луне. Весь день на службе, вечером в гостях, ночью на улице и ничего сверх меры. Беспредельно естественный образ жизни!

Однако мой знакомый еще шел сзади, он даже ускорил шаг, заметив, что отстал от меня, и сделал вид, что это вполне естественно. А я подумал, не лучше ли мне свернуть в боковую улицу, ведь я же не обязан гулять вместе. Я могу пойти домой один, и никто не смеет задерживать меня. У себя в комнате я зажгу настольную лампу в железном корпусе, сяду в свое кресло, что стоит на драном восточном ковре... Когда я дошел до этой мысли, меня обуяла слабость, которая всегда нападает на меня, как только подумаю о том, чтобы снова пойти в свое жилье и снова в одиночестве проводить часы среди раскрашенных стен и на полу, который, если смотреть на него в зеркало с золотой рамой, висящее на задней стене, косо падает вниз. У меня устали ноги, и я уже готов был, во всяком случае, пойти домой и лечь в постель, как вдруг у меня возникло сомнение, надо ли при уходе прощаться со

своим знакомым или нет. Но я был слишком робок, чтобы уйти не попрощавшись, и слишком слаб, чтобы попрощаться громко, поэтому я снова остановился, прислонился к стене дома, освещенной луной, и подождал.

Мой знакомый подошел бодрым шагом и, видимо, в некоторой степени озабоченный. Он засуетился, заморгал глазами, распростер руки, резко вскинул голову в мою сторону, желая, казалось, всем этим показать, что способен по достоинству оценить шутку, которую я выкинул здесь для его увеселения. Я был беспомощен и тихо сказал:

— Сегодня веселый вечер.

При этом я издал вымученный смешок. Он ответил:

— Да, а вы видели, как и горничная поцеловала меня?

Я не мог говорить, ибо мое горло было полно слез, поэтому я попытался протрубить, как почтовый рожок, чтобы не оставаться немым. Он сперва заткнул уши, затем, любезно благодаря, пожал мне правую руку. Та, наверно, оказалась на ощупь холодной, ибо он сразу отпустил ее и сказал:

— У вас очень холодная рука, губы горничной были теплее, о да.

Я понимающе кивнул головой.

Моля Бога дать мне стойкость, я сказал:

— Да, вы правы, мы пойдем домой, уже поздно, а завтра утром мне идти на службу; представьте себе, можно и там поспать, но это не полагается. Вы правы, мы пойдем домой.

При этом я подал ему руку, словно дело окончательно решено. Но он с улыбкой подхватил мою манеру выражаться:

— Да, вы правы, такую ночь нельзя проспать в постели. Представьте себе, сколько счастливых мыслей душишь одеялом, когда спишь один в своей постели, и сколько несчастных снов согреваешь им.

И, радуясь этому наитию, он с силой схватил меня за пиджак на груди — выше он не доставал — и с горячностью потряхнул меня; затем зажмурил глаза и доверительно сказал:

— Знаете, какой вы? Вы смешной.

При этом он зашагал дальше, а я пошел за ним, не заметив того, ибо меня занимало его суждение.

Сперва меня это обрадовало, ибо как бы показывало, что он предполагает во мне нечто такое, что во мне хоть и отсутствовало, но возвышало меня в его глазах тем, что он это предполагал. Такое отношение делало меня счастливым. Я был рад, что не пошел домой, и мой знакомый стал для меня очень ценным человеком, ведь он придавал мне перед людьми ценность без всяких моих усилий приобрести ее! Я смотрел на моего знакомого ласковыми

глазами. Мысленно я защищал его от опасностей, особенно от соперников и ревнивцев. Его жизнь стала мне дороже моей собственной. Я находил его лицо красивым, я был горд его успехом у женского пола и участвовал в поцелуях, которые он в этот вечер получил от двух девушек. О, этот вечер был веселый! Завтра мой знакомый будет говорить с фрейлейн Анной; сперва, как водится, об обыкновенных вещах, а потом он вдруг скажет: «Вчера ночью я был в обществе одного человека, какого ты, милая Анна, наверняка никогда не встречала. Он на вид — как это описать? — как болтающаяся жердь, на которую несколько неловко насажена желтокожая и черноволосая голова. Его тело увешано множеством небольших, ярких, желтоватых лоскутков, которые вчера целиком прикрывали его, ибо в безветрии этой ночи гладко прилегали к нему. Он робко шел рядом со мной. Ты, моя милая Аннерль, ты, умеющая так хорошо целовать, ты, я знаю, немного посмеялась и немного испугалась бы, а я, чья душа сама не своя от любви к тебе, я радовался его присутствию. Он, может быть, несчастен, и поэтому он молчит, и все же при нем испытываешь непрекращающееся счастливое беспокойство. Ведь вчера я был сломлен собственным счастьем, но я чуть не забыл о тебе. Мне казалось, что с каждым вздохом его впалой груди поднимался твердый свод звездного неба. Горизонт распахнулся, и под пламенеющими облаками открылись те бесконечные дали, которые делают нас счастливыми... О небо, как я люблю тебя, Аннерль, и твой поцелуй мне милее всяческих далей. Не будем больше говорить о нем, а будем любить друг друга».

Когда мы, медленно шагая, вышли затем на набережную, я хоть и завидовал своему знакомому из-за поцелуев, но и радовался, что передо мной, каким я ему вижусь, ему, вероятно, должно быть стыдно.

Так думал я. Но мои мысли тогда путались, ибо Влтава и городские кварталы на другом берегу были окутаны темнотой. Горело, играя с глядящими глазами, лишь несколько огней.

Мы остановились у ограды. Я надел перчатки, ибо от воды веяло холодом; затем я без причины вздохнул, как то хочется сделать у реки ночью, и хотел пойти дальше. Но мой знакомый смотрел в воду и не шевелился. Затем он подошел еще ближе к перилам, оперся локтями на железо и опустил лоб в ладони. Это показалось мне глупым. Я замерз и поднял воротник пальто. Мой знакомый распрямился и перевесился через перила туловищем, которое держалось теперь на его напряженных руках. Я пристыженно поспешил заговорить, чтобы подавить зевоту:

— Правда ведь, удивительно, что именно только ночь способна цели-

ком погрузить нас в воспоминания? Сейчас, например, мне вспоминается вот что. Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, лежавшую на деревянной спинке скамейки, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.

Так говорил я, судорожно пытаясь вообразить за словами какие-то любовные истории с занятыми положениями; не помешало бы и немного грубости, решительности, насилия.

Но не успел я произнести первые слова, как мой знакомый равнодушно и только удивившись, что я еще здесь, — так показалось мне — обернулся ко мне и сказал:

— Знаете, так всегда бывает. Когда я сегодня спускался по лестнице, чтобы еще прогуляться вечером, перед тем как пойти в гости, я удивился тому, как болтались мои красноватые руки в белых манжетах, и тому, что болтались они с необычной резвостью. Тут я стал ждать приключения. Так всегда бывает.

Последнее он сообщил уже на ходу, невзначай, как маленькое наблюдение. Меня же это очень тронуло, и я огорчился, что, может быть, ему неприятна моя долговязая фигура, рядом с которой он вполне мог показаться слишком маленьким. И это обстоятельство, хотя дело было ночью и мы почти никого не встречали, мучило меня так сильно, что я согнул спину настолько, что мои руки на ходу касались колен. Но чтоб мой знакомый не заметил моего умысла, я менял свою осанку очень постепенно, с большой осторожностью и старался отвлечь от себя его внимание замечаниями о деревьях на острове Стрелков и об отражении в реке фонарей моста. Но он вдруг резко повернулся лицом ко мне и снисходительно сказал:

— Почему вы так ходите? Вы же совсем сторбились и стали ростом почти с меня.

Поскольку он сказал это любезно, я ответил:

— Это возможно. Но мне эта поза приятна. Я слабоват, знаете ли, и мне бывает слишком трудно держаться прямо. Это не пустяк, я очень длинный...

Он сказал несколько недоверчиво:

— Да это просто прихоть. Раньше же вы, по-моему, шли, выпрямившись во весь рост, да и в гостях вы держались сносно. Вы ведь даже танцевали — или нет? Нет? Но шли вы выпрямившись, и это вы, конечно, можете и сейчас.

Я ответил упорно и с отвергающим жестом:

— Да, да, я шел выпрямившись. Но вы недооцениваете меня. Я знаю, что такое хорошие манеры, и поэтому иду сгорбившись.

Но это не показалось ему простым, в смятении от своего счастья он не понял связи моих слов и сказал только:

— Ну как знаете, — и посмотрел на часы Мельничной башни, которые показывали уже почти час ночи.

Я же сказал про себя: «Как бессердечен этот человек! Как характерно и явно его равнодушие к моим смиренным словам! Он счастлив, в этом все дело, и таково свойство счастливых — находить естественным все, что происходит вокруг них. Их счастье устанавливает во всем великолепную связь. И если бы я прыгнул сейчас в воду или если бы стал перед ним корчиться в судорогах на мостовой под этой аркой, то все равно бы я мирно вписался в его счастье. Да, если бы ему втемяшилось — счастливые настолько опасны, это несомненно, — он убил бы меня как бандит. Это не подлежит сомнению, и, поскольку я труслив, я от ужаса даже не осмелился бы закричать... О боже!»

Я в страхе огляделся. Перед отдаленной кофейней с прямоугольными черными окнами по мостовой скользил полицейский. Его сабля немного мешала ему, он взял ее в руку, и теперь дело пошло значительно лучше. А уж услышав издали, что он слабо вскрикивает, я окончательно убедился, что он меня не спасет, буде мой знакомый пожелает убить меня.

Зато теперь я знал, что мне делать, ибо как раз перед страшными событиями мною овладевает большая решительность. Мне следовало убежать. Это было очень легко. Теперь, у поворота налево к Карлову мосту, я мог шмыгнуть направо в Карлову улицу. Она была с закоулками, там было много темных подворотен и пивных, еще открытых сейчас; мне не следовало отчаиваться.

Когда мы вышли из-под арки в конце набережной, я с поднятыми руками побежал в эту улицу; но как раз добежав до маленькой двери церкви, упал, ибо там была ступенька, которой я не заметил. Упал я с грохотом. Ближайший фонарь был далеко, я лежал в темноте. Из пивной напротив вышла толстуха с закоптелым фонариком — посмотреть, что случилось на улице. Фортепианная игра прекратилась, и какой-то мужчина полностью распахнул полуоткрытую было дверь. Он великолепно харкнул на ступеньку и, щекоча толстуху между грудями, сказал, что происшедшее, во всяком случае, не имеет значения. Затем они повернулись, и дверь снова захлопнулась.

Попробовав встать, я снова упал. «Гололед», — сказал я и почувствовал боль в колене. Но все же меня радовало, что люди из пивной меня не увидели, и потому мне показалось самым удобным пролежать здесь до рассвета.

Мой знакомый дошел один, наверно, до моста, не заметив моего исчезновения, ибо ко мне он пришел не сразу. Я не видел, чтобы он был удивлен, когда сочувственно склонился ко мне и погладил меня мягкой рукой. Он провел по моим скулам вверх и вниз, а потом положил два толстых пальца на мой низкий лоб.

— Вы ушиблись, да? Гололед, надо быть осторожным... У вас болит голова? Нет? Ах, вот как.

Он говорил напевно, словно рассказывал историю, к тому же очень приятную историю об очень отдаленной боли в чем-то колене. Он и руками двигал, но и не думал поднять меня. Я подпер себе голову правой рукой — локоть лежал на булыжнике — и быстро сказал, чтобы не забыть это:

— Не знаю, собственно, зачем я побежал направо. Но я увидел, как под аркадами этой церкви — не знаю, как она называется, о, пожалуйста, простите — бегают кошка, маленькая кошечка, и шерсть у нее была светлая. Поэтому я заметил ее... О нет, не в этом дело, извините, но достаточно трудно целый день владеть собой. Для того мы и спим, чтобы подкрепиться для этого труда, а если мы не спим, то с нами нередко случаются нелепые вещи, но было бы невежливо со стороны наших спутников громко этому удивляться.

Мой знакомый, держа руки в карманах, поглядел на пустой мост, на Конгрегационную церковь, затем на небо, которое было ясно. Поскольку он не слушал меня, он испуганно сказал:

— Ну почему же вы не говорите, дорогой? Вам плохо?.. Ну почему же вы, собственно, не встаете?.. Ведь здесь холодно, вы простудитесь, а потом ведь мы собирались на Лаврентьеву гору.

— Конечно, — сказал я, — простите, — и встал самостоятельно, но с сильной болью. Я шатался и должен был упереться взглядом в статую Карла Четвертого, чтобы узнать, где я нахожусь. Но лунный свет был неловок и привел в движение и Карла Четвертого. Я удивился, и мои ступни стали намного крепче от страха, что Карл Четвертый рухнет, если я не приму успокаивающей позы. Позднее мое усилие оказалось бесполезным, ибо Карл Четвертый все же упал, как раз когда мне подумалось, что меня любит девушка в красивом белом платье.

Я бьюсь напрасно и многое упускаю. Какая это счастливая была мысль насчет девушки!.. И как это мило было со стороны луны, что она освещала и

меня, а я из скромности хотел стать под свод башни у моста, поняв, что это просто естественно, чтобы луна освещала все. Поэтому я с радостью распростер руки, чтобы полностью насладиться луной... Тут мне вспомнились стихи:

Я скакал через улицы,
Топая по воздуху,
Как пьяный бегун, —

и мне сделалось легко, когда я, совершая вялыми руками плавательные движения, стал без боли и без труда продвигаться вперед. Моей голове было покойно в прохладном воздухе, а любовь одетой в белое девушки приводила меня в печальный восторг, ибо мне казалось, будто я улываю от влюбленной, а также от туманных гор ее края... И я вспомнил, что однажды возненавидел одного счастливого знакомого, который и сейчас, может быть, шел рядом со мной, и порадовался, что моя память так хороша, что в ней сохраняются даже такие второстепенные вещи. Ведь у памяти нагрузка большая. Вдруг я стал знать названия всего множества звезд, хотя никогда не заучивал их. Да, это были занятные названия, трудно запоминающиеся, но я знал все и очень точно. Высоко подняв указательный палец, я громко выкрикивал название каждой... Но я недолго называл звезды, ибо мне надо было плыть дальше, если я не хотел погрузиться слишком глубоко. Но чтобы мне потом не сказали, что плыть над мостовой может каждый и об этом не стоит рассказывать, я, взяв более быстрый темп, поднялся над перилами и вплавь кружил возле каждой статуи святого, которую встречал на пути... У пятой, как раз когда я рассчитанными взмахами задержался над мостовой, мой знакомый схватил мою руку. Теперь я снова стоял на мостовой и чувствовал боль в колене. Я уже забыл названия звезд, а относительно милой девушки помнил только, что на ней было белое платье, но никак не мог вспомнить, какие основания были у меня верить в ее любовь. Во мне поднялась большая и вполне основательная злость на свою память и страх, что потеряю эту девушку. И я стал напряженно и непрерывно повторять «белое платье, белое платье», чтобы хотя бы с помощью одного этого признака сохранить ее для себя. Но это не помогло. Мой знакомый все ближе подступал ко мне со своими речами, и в тот миг, когда я начал понимать его слова, что-то белое изящно проскакало вдоль перил моста, пронеслось через мостовую башню и прыгнуло в темную улицу.

— Я всегда любил, — сказал мой знакомый, указывая на статую святой Людмилы, — руки этого ангела, слева. Их тонкость безгранична, и пальцы,

которые напряжены, дрожат. Но с сегодняшнего вечера эти руки мне безразличны, можно сказать, ибо я целовал руки.

Тут он обнял меня, поцеловал мою одежду и прижался головой к моему туловищу. Я сказал:

— Да, да. Я вам верю. Я не сомневаюсь, — и при этом щипал своими пальцами, когда он отпускал их, его икры. Но он этого не чувствовал. Тогда я сказал себе: «Почему ты идешь с этим человеком? Ты его не любишь и ненависти к нему тоже не питаешь, ибо счастье заключено только в девушке, и даже точно неизвестно, что она носит белое платье. Значит, этот человек тебе безразличен... повтори: безразличен. Но он и неопасен, как выяснилось. Поэтому иди с ним дальше на Лаврентьеву гору, ибо ты уже на пути туда прекрасной ночью, но не мешай ему говорить и развлекайся по-своему, этим — скажи это тихо — ты защитишь себя лучше всего».

II

Увеселения, или Доказательство того, что жить невозможно

1. ЕЗДА ВЕРХОМ

С необычной ловкостью я уже вскочил на плечи своему знакомому и, толкая кулаками в спину, заставил его бежать рысцой. А когда он еще ерепенился и порой даже останавливался, я колотил его сапогами по животу, чтобы придать ему резвости. Это удалось, и мы с хорошей скоростью проникали все дальше в глубь большого, но еще недоделанного края, где был вечер.

Проселочная дорога, по которой я ехал, была камениста и заметно шла в гору, но как раз это мне нравилось, и я заставлял ее стать еще каменистей и круче. Стоило моему знакомому споткнуться, как я тянул его за волосы вверх, а стоило ему застонать, бил кулаками по голове. При этом я чувствовал, как полезна для моего здоровья эта вечерняя езда верхом в этом хорошем настроении, и, чтобы сделать ее еще бешеней, я напускал на нас долгие порывы встречного ветра. Теперь я еще и увеличивал на широких плечах своего знакомого подскоки при верховой езде и, обеими руками вцепившись в его шею, далеко запрокидывал голову и смотрел на разнообразные облака, которые слабей моего неуклюже летели по ветру. Я смеялся и дрожал от отваги. Мое пальто распахнулось и давало мне силу. При этом я крепко сцеплял руки, делая вид, будто не знаю, что тем самым душу своего знакомого.

А в небо, которое мне постепенно закрывали искривленные ветки деревьев, росших по моей воле по краю дороги, я в горячке движенья кричал:

— У меня же есть другие дела, кроме того, чтобы вечно слушать любовную дребедень. Почему он явился ко мне, этот болтливый влюбленный? Они все счастливы и становятся особенно счастливы, когда другой это знает. Они думают, что у них сейчас счастливый вечер, и уже потому радуются будущей жизни.

Тут мой знакомый упал, и, осмотрев его, я увидел, что у него тяжело ранено колено. Поскольку пользы от него больше не было, я оставил его на камнях и только свистком спустил с высоты несколько коршунов, которые послушно и со строгими клювами сели на него, чтобы его охранять.

2. ПРОГУЛКА

Я невозмутимо пошел дальше. Но, боясь, что пешком по гористой дороге идти будет тяжело, я заставил дорогу сделаться все более пологой и вдали наконец спуститься в равнину.

Камни исчезли по моей воле, ветер затих и потерялся в вечере. Я шел хорошим шагом, и так как я шел с горы, я поднял голову, подобрался и скрестил руки на затылке. Поскольку я люблю сосновые боры, я шел через сосновые боры, а поскольку мне нравится молча смотреть на звездное небо, звезды всходили для меня на широко распростершемся небе медленно и спокойно, как то вообще им свойственно. Я видел лишь отдельные вытянутые облака, которые гнал ветер, дувший только на их высоте.

Довольно далеко против моей дороги я поставил, вероятно, отделенную от меня рекой гору, вершина которой поросла кустарником и граничила с небом. Мне отчетливо были видны даже мелкие разветвления и движения самых высоких веток. Это зрелище, как оно ни заурядно, обрадовало меня настолько, что, качаясь птичкой на прутьях этих отдаленных взъерошенных кустов, я забыл приказать взойти луне, которая уже лежала за горой, досадуя, вероятно, на такую задержку.

Но тут прохладное сияние, предшествующее восходу луны, растеклось по горе, и вдруг луна сама поднялась за одним из беспокойных кустов. Я же в это время глядел в другую сторону, и, когда я теперь посмотрел вперед и вдруг увидел, как она светит уже почти всем своим кругом, я с помутневшими глазами остановился, ибо казалось, что моя наклонная дорога ведет прямо в эту пугающую луну.

Но вскоре я привык к ней и спокойно наблюдал, с каким трудом она всходит, пока наконец — а мы с ней прошли навстречу друг другу уже из-

рядное расстояние — не почувствовал приятной сонливости, которая напала на меня, как я думал, из-за тягот целого дня, которых я, правда, уже не помнил. Я шел некоторое время с закрытыми глазами, не засыпая только благодаря тому, что громко и равномерно хлопал в ладоши.

Но затем, когда дорога стала выскальзываться у меня из-под ног и всё, устав, как и я, начало исчезать, я лихорадочно поспешил вскарабкаться на склон по правую сторону дороги, чтобы еще вовремя прийти в высокий, запутанный сосновый лес, где собирался проспать ночь. Нужно было спешить. Звезды уже темнели, и луна немощно тонула в небе, как в бурной воде. Гора была уже частью ночи, дорога пугающе кончалась там, где я повернулся к склону, а из глубины леса слышался приближающийся грохот падающих стволов. Теперь я мог бы сразу упасть в мох и заснуть, но, боясь муравьев, я, цепляясь за ствол ногами, взобрался на дерево, которое тоже уже шаталось без ветра, лег на ветку, привалил голову к стволу и торопливо уснул, а на дрожащем конце ветки сидела и качалась белочка моей прихоти с отвесным хвостом.

Я спал без сновидений и глубоко. Ни заход луны, ни восход солнца не разбудили меня. И даже когда я уже готов был проснуться, я успокоил себя, сказав: «Ты очень утомился за вчерашний день, поэтому побереги свой сон», — и уснул снова.

Но хотя мне ничего не снилось, была все же одна небольшая постоянная помеха моему сну. Всю ночь я слышал, как кто-то говорит рядом со мной. Самих слов я почти не слышал, кроме отдельных, как «скамейка на берегу реки», «туманные горы», «поезда со сверкающим дымом», слышал только их интонацию, и помню еще, что во сне потирал руки от радости, что мне не нужно различать отдельных слов, поскольку я именно сплю.

Перед полночью этот голос был очень веселым, обидным. Я испугался, ибо подумал, что кто-то подпиливает внизу мое дерево, которое уже раньше шаталось... После полуночи голос, посерьезнев, отступил и стал делать паузы между своими фразами, так что показалось, будто он отвечает на вопросы, которых я не задавал. Тут я почувствовал себя уютнее и осмелился вытянуться... Под утро голос становился все дружелюбнее. Ложе говорящего было, кажется, ничуть не надежнее моего, ибо теперь я заметил, что говорил он с соседних веток. Тут я осмелел и лег спиной к нему. Это, видимо, огорчило его, ибо он перестал говорить и молчал так долго, что утром, когда я уже совсем отвык от этого шума, разбудил меня тихим вздохом.

Я глядел в облачное небо, которое было не только над моей головой, но даже окружало меня. Облака были так тяжелы, что низко плыли над мхом,

наталкивались на деревья, рвались о ветки. Иные на какое-то время падали на землю или повисали на деревьях, пока не дул и не гнал их дальше более сильный ветер. Большинство их несло еловые шишки, отломанные сучья, дымовые трубы, мертвую дичь, полотнища флагов, флюгера и другие, большей частью неузнаваемые предметы, которые они, пlying, захватили вдали.

Я сжался на своей ветке, стараясь отталкивать грозившие мне облака или увертываться от них, если они были широкие. Это был, однако, тяжёлый труд для меня, пребывавшего ещё в полусне и к тому же встревоженно-го вздохами, которые мне ещё часто слышались. Но я с удивлением видел: чем уверенней становился я в своей жизни, тем выше и шире расстилалось небо, пока наконец после моего последнего зевка не открылась вновь местность прошлого вечера, которая лежала теперь под дождевыми облаками.

Эта так быстро возникшая широкость моего кругозора испугала меня. Я задумался, почему я пришел в этот край, дорог которого я не знал. Мне показалось, будто я забрел сюда во сне и, лишь проснувшись, понял весь ужас своего положения. Тут я, к счастью, услышал птицу в лесу, и меня успокоила мысль, что я ведь пришел сюда ради своего удовольствия.

— Твоя жизнь была однообразна, — сказал я вслух, чтобы убедить себя в этом, — тебя действительно нужно было куда-нибудь отвести. Можешь быть доволен, здесь весело. Солнце светит.

Тут засветило солнце, и дождевые облака стали белыми, легкими и маленькими на синем небе. Они блестели и вздымались. Я увидел реку в долине.

— Да, она была однообразна, ты заслуживаешь этого увеселения, — продолжал я словно по принуждению, — но не была ли она и в опасности?

Тут я услышал, как кто-то вздохнул до ужаса близко.

Я хотел быстро слезть, но, поскольку ветка дрожала так же, как моя рука, оцепенело упал с высоты. Я почти не ударился, и мне не было больно, но я почувствовал себя таким слабым и несчастным, что уткнулся лицом в траву, не находя в себе сил смотреть на земные вещи вокруг. Я был убежден, что каждое движение и каждая мысль вынужденны, что поэтому следует остерегаться их. Зато естественнее всего лежать здесь в траве, прижав руки к телу и спрятав лицо. И я уговаривал себя радоваться, что уже нахожусь в этом само собой разумеющемся положении, а то бы ведь мне понадобилось множество ухищрений, много всяких шагов и слов, чтобы в нем окататься.

Но, недолго пролежав, я услышал, как кто-то плачет. Это происходило поблизости и потому раздражало меня. Раздражало так, что я стал думать,

кто бы это мог плакать. Но едва я начал думать, как стал в злобном страхе ворочаться с такой силой, что вывалившись в хвое, скатился вниз, в пыль дороги. И хотя своими засоренными пылью глазами я видел все только так, словно это мне чудится, я сразу же побежал по дороге дальше, чтобы наконец уйти от всех призраков.

Я задышался от бега и перестал владеть собой от смятения. Я видел, как поднимаются мои ноги с широко выпирающими коленными чашками, но уже не мог остановиться, ибо мои руки двигались взад-вперед, как при очень веселой прогулке, и голова у меня качалась. Тем не менее я холодно и отчаянно старался найти спасение. Тут я вспомнил о реке, которая должна была течь поблизости, и сразу же увидел у своих ног тропинку, которая сворачивала в сторону и действительно после нескольких прыжков через луг привела меня к берегу.

Река была широкая, и ее маленькие шумные волны были освещены. На другом берегу тоже были луга, переходившие потом в кустарник, за которым далеко вдаль виднелись светлые аллеи плодовых деревьев, уходившие к зеленым холмам.

Обрадовавшись этому виду, я лег и, зажав себе уши из опасения услышать плач, подумал, что здесь могу успокоиться. Ведь здесь пустынно и красиво. Не нужно большого мужества, чтобы здесь жить. Здесь придется мучиться, как в любом другом месте, но при этом не придется красиво двигаться. Это не будет нужно. Ибо здесь только горы и большая река, и я еще достаточно умен, чтобы считать их необитаемыми. Да, спотыкаясь в одиночестве на поднимающихся в гору луговых тропках, я не буду более покинутым, чем эта гора, разве что буду чувствовать себя покинутым. Но думаю, что и это пройдет.

Так играл я со своей будущей жизнью и упорно пытался забыть. При этом я, щурясь, смотрел на то небо, что обладает необыкновенно счастливой окраской. Таким я уже давно не видел его, это тронуло меня и напомнило мне отдельные дни, когда я тоже думал, что вижу его таким. Я отнял ладони от ушей, развел руки в сторону и упал в травы.

Я услышал, как вдалеке кто-то тихо всхлипывает. Поднялся ветер, и с шорохом взлетели вороха сухих листьев, которых я прежде не видел. С плодовых деревьев бешено посыпались на землю незрелые плоды. Из-за какой-то горы поднялись безобразные облака. Волны реки скрипели и пятились от ветра.

Я быстро встал. У меня болело сердце, ибо теперь мне казалось невозможным выбраться из моих бед. Я уже хотел повернуть, чтобы покинуть эту

местность и вернуться в свою прежнюю жизнь, как вдруг меня осенило: «Как замечательно, что в наше время благородных людей еще переправляют через реки таким нелегким способом. Ничем другим этого не объяснить, как тем, что это старый обычай». Я покачал головой, ибо был удивлен.

3. ТОЛСТЯК

а) Речь, обращенная к местности

Из кустов на другой берег вышло четверо могучих нагих мужчин, которые несли на плечах деревянные носилки. На этих носилках по-восточному сидел невероятно толстый человек. Хотя его несли через кусты по бездорожью, он не раздвигал колючих веток, а спокойно расталкивал их своим неподвижным телом. Его складчатые массы жира были распластаны так тщательно, что целиком покрывали носилки и еще свисали по бокам, как края желтоватого ковра, чем, однако, ничуть не мешали ему. У него было бесхитрое выражение лица человека, который задумался и не старается скрыть это. Порой он закрывал глаза; когда он открывал их снова, подбородок его кривился.

— Эта местность мешает мне думать, — сказал он тихо, — из-за нее мои рассуждения качаются, как цепные мосты при яроном течении. Она красива и хочет поэтому, чтобы на нее смотрели.

Я закрываю глаза и говорю: ты, зеленая гора у реки, ты, у которой против воды есть скатывающиеся камни, ты красива.

Но она недовольна, она хочет, чтобы я открыл глаза и смотрел на нее.

А если я с закрытыми глазами скажу: гора, я тебя не люблю, ибо ты напоминаешь мне облака, вечерние зори и поднимающееся небо, а это вещи, которые заставляют меня чуть ли не плакать, ибо их не достигнуть тому, кого носят на маленьких носилках. А показывая мне все это, ты, коварная гора, заслоняешь мне даль, которая меня веселит, ибо в прекрасной обзорности показывает достижимое. Поэтому я не люблю тебя, гора у воды, нет, я не люблю тебя.

Но эта речь оставит ее такой же равнодушной, как прежняя, если я не буду говорить с открытыми глазами. Иначе она не будет довольна.

А разве мы не должны сохранять ее расположение к нам, чтобы вообще сохранить ее, питающую такое причудливое пристрастие к каше наших мозгов? Она обрушит на меня свои зубчатые тени, она молча выставит передо мной ужасно голые стены, и мои носильщики споткнутся о камешки на дороге.

Но не только гора так тщеславна, так назойлива и так потом мстительна,

таково же и все другое. Поэтому я должен, округлив глаза — о, им больно, — повторять снова и снова:

«Да, гора, ты прекрасна, и меня радуют леса на твоём западном склоне... И тобою тоже, цветок, я доволен, и твой розовый цвет веселит мне душу... Ты, трава на лугах, уже высока и мощна и даришь прохладу... И ты, диковинный кустарник, укальываешь так неожиданно, что наши мысли сразу рассеиваются. А к тебе, река, я питаю такую большую симпатию, что дам пронести себя через твою упругую воду».

Громко произнеся десять раз эту хвалебную речь, сопровождающуюся смиренными движениями его туловища, он опустил голову и с закрытыми глазами сказал:

— А теперь я прошу вас — гора, цветок, трава, кустарник и река, — дайте мне немного места, чтобы я мог дышать.

Тут произошло поспешное передвижение окрестных гор, которые отеснились за пелены тумана. Аллеи хоть и остались на месте, как-то сохраняя ширину дороги, но заблаговременно расплылись: на небе перед солнцем стояло влажное облако с просвечивающими краями, в тени которого местность опускалась, а все предметы теряли свои прекрасные очертания.

Шаги носильщиков донесли до моего берега, однако в темном четырехугольнике их лиц я ничего не мог различить точнее. Я видел только, как они наклоняли головы вбок и как сгибали спины, ибо ноша у них была необыкновенная. Я забеспокоился за них, заметив, что они устали. Поэтому я пристально следил, когда они ступили на траву берега, а затем еще ровным шагом пошли по мокрому песку, пока наконец не погрузились в топкие заросли камыша, где оба задних носильщика согнулись еще ниже, чтобы сохранить носилки в горизонтальном положении. Я крепко сцепил пальцы. Теперь они при каждом шаге должны были высоко поднимать ноги, отчего их тела блестели от пота в прохладном воздухе этого изменчивого дня.

Толстяк сидел спокойно, положив руки на ляжки; длинные оконечности тростника хлестали его, распрямляясь за передними носильщиками.

Движения носильщиков становились все менее равномерными, по мере того как они приближались к воде. Порой носилки качались, словно они уже на волнах. Лужицы в камышах нужно было перепрыгивать или обходить, ибо они могли оказаться глубокими. Однажды поднялись с криком дикие утки и отвесно влетели в тучу. Тут я увидел в короткой гримасе лицо толстяка; оно было совсем беспокойно. Я встал и неуклюжими прыжками помчался по каменистому склону, который отделял меня от воды. Я не обращал внимания на то, что это было опасно, думая только о том, чтобы помочь

толстяку, когда его слуги не смогут больше нести его. Я бежал так безрассудно, что не смог остановиться внизу у воды и, немного пробежав по всплеснувшей воде, остановился лишь там, где вода была уже мне по колено.

А на том берегу слуги, крючась, дошли с носилками до воды и, удерживаясь с помощью одной руки над беспокойной водой, подпирали носилки четырьмя волосатыми руками, так что были видны необычно поднятые мускулы.

Вода подступала сперва к подбородкам, затем поднялась к ртам, головы носильщиков запрокинулись, и носилки упали на плечи. Вода захлестывала уже переносицы, а они все еще не прекращали усилий, хотя не добрались и до середины реки. Тут на головы передних упала невысокая волна, и все четверо молча утонули, увлекая за собой носилки своими ручищами. Вода обвалом хлынула вслед.

Тут из краев большого облака пробился низкий свет вечернего солнца, он озарил холмы и горы на горизонте, в то время как река и местность под облаком были освещены смутно.

Толстяк медленно повернулся в направлении течения, и его понесло вниз по реке, как истукана светлого дерева, который оказался не нужен и брошен поэтому в реку. Он плыл по отражению тучи. Продолговатые облака тянули его, а маленькие сгорбившиеся толкали, что вызывало значительное волнение, которое было заметно даже по всплескам воды у моих колен и у камней берега.

Я быстро вскарабкался снова вверх по откосу, чтобы сопровождать толстяка на дороге, ибо я поистине любил его. И может быть, я смогу что-нибудь узнать насчет опасности этого с виду безопасного края. Я вышел на полосу песка, к устью которой надо было еще привыкнуть, руки в карманах, повернув лицо к реке под прямым углом, так что подбородок почти лежал у меня на плече.

На камнях берега сидели нежные ласточки.

Толстяк сказал:

— Дорогой сударь на берегу, не пытайтесь спасти меня. Это месть воды и ветра; я пропал. Да, это месть, ведь сколь часто мы, я и мой друг богомолец, нападали на эти вещи, когда пел наш клинок, сверкали кимвалы, великоленно сияли трубы и вспыхивали зарницы литавр.

Маленькая чайка с распластанными крыльями пролетела через его живот, отчего скорость ее не уменьшилась.

Толстяк продолжал:

б) Начало разговора с богомольцем

— Было время, когда я изо дня в день ходил в одну церковь, ибо девушка, в которую я был влюблен, вечерами молилась там на коленях по полчаса, и тогда я мог без помех глядеть на нее.

Когда однажды эта девушка не пришла и я недовольно смотрел на молящихся, мое внимание обратил на себя один молодой человек, распростершийся на полу всем своим худым телом. Время от времени он, напрягая все силы, поднимал голову и со вздохом бросал ее на прижатые к камням руки.

В церкви было лишь несколько старых женщин, которые часто склоняли и поворачивали свои закутанные головки, чтобы взглянуть на молящегося. Это внимание, казалось, осчастливливало его, ибо перед каждым своим благочестивым приступом он проверял глазами, много ли людей на него смотрит.

Я нашел это неприличным и решил заговорить с ним, когда он уйдет из церкви, и выпытать у него, почему он молится таким образом. Да, я был раздражен, потому что моя девушка не пришла.

Но лишь через час он поднялся, истово перекрестился и порывисто двинулся к кружке. Я стал на его пути между кропильницей и дверью, зная, что не пропущу его без объяснений. Я скривил рот, как то всегда делаю для подготовки, когда решительно намерен поговорить. Я выставил вперед правую ногу и оперся на нее, а левую небрежно поставил на носок; это тоже придает мне твердость.

Возможно, что этот человек уже косился на меня, когда окроплял лицо святой водой, а может быть, с беспокойством заметил меня еще раньше, ибо теперь он неожиданно помчался к двери и прочь. Стеклопанель захлопнулась. И когда я сразу же вслед вышел за дверь, я уже не увидел его, ибо там было несколько узких улиц и место было людное.

В последующие дни он не появлялся, а моя девушка пришла. Она была в черном платье, отделанном по вороту прозрачными кружевами — под ними виднелся полумесяц выреза сорочки, — с нижнего края которых шелк ниспадал хорошо скроенным воротником. И поскольку девушка пришла, я забыл об этом молодом человеке и не интересовался им даже тогда, когда он потом опять регулярно являлся и молился по своему обыкновению. Но он всегда проходил мимо меня с большой поспешностью, отвернув лицо. Может быть, дело тут в том, что я всегда представлял его себе только в движении, и поэтому, даже когда он стоял, мне казалось, что он крадется.

Однажды я замешкался у себя в комнате. Но я все-таки еще пошел в церковь. Девушки я там уже не застал и хотел пойти домой. Вдруг я увидел,

что этот молодой человек опять лежит здесь. Теперь тот старый случай вспомнился мне и пробудил во мне любопытство.

Я на цыпочках проскользнул к дверям, дал монету слепому нищему, который там сидел, и притаился рядом с ним за открытым дверным створом. Я просидел там час, состроив, может быть, лукавую физиономию. Я чувствовал себя там хорошо и решил приходить сюда почаще. Но в ходе второго часа я нашел нелепым сидеть здесь из-за этого богомольца. И все-таки я уже со злостью позволил паукам ползать по своей одежде и третий час, когда последние посетители, громко дыша, выходили из темноты церкви.

Тут он тоже появился. Он шел осторожно, и ноги его сперва как бы ощупывали пол, прежде чем наступить на него.

Я встал, сделал большой и прямой шаг и схватил молодого человека за воротник.

— Добрый вечер, — сказал я и, держа его за воротник, толкнул по ступенькам вниз на освещенную площадь.

Когда мы спустились, он сказал совершенно нетвердым голосом:

— Добрый вечер, дорогой-дорогой сударь, только не сердитесь на вашего покорнейшего слугу.

— Да, — сказал я, — я хочу кое-что спросить у нас, сударь, в прошлый раз вы улизнули от меня, сегодня это вам вряд ли удастся.

— Вы сердобольны, сударь, и отпустите меня домой. Меня можно пожалеть, это сущая правда.

— Нет, — закричал я под шум проезжавшего мимо трамвая, — я вас не отпущу! Как раз такие истории мне нравятся. Вы — счастливая находка. Я могу поздравить себя.

Тогда он сказал:

— Ах, боже мой, у вас резвое сердце и голова как болванка. Вы называете меня счастливой находкой, как же вы должны быть счастливы! Ведь мое несчастье — это несчастье зыбкое, несчастье, зыблющееся на острие, и если дотронуться до него, оно падет на расспрашивающего. Спокойной ночи, сударь.

— Хорошо, — сказал я и схватил его правую руку, — если вы не ответите мне, я начну кричать здесь, на улице. И сбегутся все продавщицы, которые сейчас выходят из магазинов, и все их любовники, которые с радостью ждут их, ибо они подумают, что упала какая-нибудь лошадь, запряженная в дрожки, или случилось еще что-нибудь в этом роде. Тогда я покажу вас людям.

Тут он, плача, поочередно поцеловал обе мои руки.

— Я скажу вам то, что вы хотите узнать, но лучше, пожалуйста, пройдем вон в тот переулок.

Я кивнул головой, и мы пошли туда.

Но он не удовольствовался темнотою переулка, где были только далеко отстоящие друг от друга желтые фонари, а завел меня в низкий подъезд какого-то старого дома под висевший перед деревянной лестницей фонарик, из которого капало.

Там он церемонно взял свой носовой платок и, расстелив его на ступеньках, сказал:

— Садитесь, дорогой сударь, так вам будет удобнее спрашивать, я постою, так мне будет удобнее отвечать. Только не мучайте меня.

Я сел и, подняв на него прищуренные глаза, сказал:

— Вы самый настоящий сумасшедший, вот вы кто! Как вы ведете себя в церкви! Как это смешно и как неприятно присутствующим! Как можно испытывать благоговение, если приходится смотреть на вас.

Он прижался к стене, только головой он двигал свободно.

— Не сердитесь... зачем вам сердиться из-за вещей, которые не имеют к вам отношения. Я сержусь, когда веду себя неподобающе, а когда кто-нибудь другой ведет себя плохо, я радуюсь. Не сердитесь поэтому, если я скажу, что в том и состоит цель моих молитв, чтобы люди смотрели на меня.

— Что вы говорите, — воскликнул я донельзя громко для низкого прохода, но побоялся понизить голос, — в самом деле, что вы говорите! Да, я догадываюсь, да, я догадывался, с тех пор как увидел вас, в каком состоянии вы находитесь. У меня есть опыт, и я вовсе не в шутку скажу вам, что это какая-то морская болезнь на суше. Природа болезни такова, что вы забыли истинные имена вещей и теперь поспешно осыпаете их случайными именами. Только бы побыстрее, только бы побыстрее! Но едва убежав от них, вы снова забываете их названия. Тополь в полях, который вы называли «Вавилонская башня», ибо не знали или не желали знать, что это был тополь, снова качается безымянно, и вы называете его «Ной во хмелю».

Я немного смутился, когда он сказал:

— Я рад, что не понял того, что вы сказали.

Волнуясь, я быстро сказал:

— Тем, что вы этому рады, вы показываете, что поняли меня.

— Верно, я это показал, милостивый государь, но и вы говорили странно.

Я положил ладони на верхнюю ступеньку, откинулся назад и в этой поч-

ти неприступной позе, которая служит борцам последним спасением, сказал:

— Веселый у вас способ спастись: вы предполагаете ваше состояние у других.

После этого он стал храбрее. Он сложил руки, чтобы придать единство своему телу, и с легким внутренним сопротивлением сказал:

— Нет, я же поступаю так не со всеми, и с вами, например, тоже не поступаю так, потому что не могу. Но я был бы рад, если бы мог, ибо тогда мне уже не нужно было бы внимание людей в церкви. Знаете, почему оно нужно мне?

Этот вопрос поставил меня в тупик. Конечно, я этого не знал и думаю, что и не хотел знать. Я же и сюда приходить не хотел, сказал я себе тогда, но этот человек заставил меня слушать его. Мне достаточно было только покачать головой, чтобы показать ему, что я не знал этого, но я не мог и шевельнуть головой.

Человек, стоявший передо мной, улыбнулся. Затем он, сжимаясь, опустился на колени и заговорил сонливым голосом:

— Никогда не бывало такого времени, чтобы благодаря самому себе я был убежден в том, что в самом деле вижу. Все вещи вокруг я представляю себе настолько хрупко, что мне всегда кажется, будто они жили когда-то, а теперь уходят в небытие. Всегда, дорогой сударь, я испытываю мучительное желание увидеть вещи такими, какими они, наверно, видятся, прежде чем показать себя мне. Они тогда, наверно, прекрасны и спокойны. Так должно быть, ибо я часто слышу, что люди говорят о них в этом смысле.

Поскольку я молчал и лишь невольными вздрагиваниями лица показывал, как мне тягостно, он спросил:

— Вы не верите в то, что люди так говорят?

Я счел нужным кивнуть головой, но не смог.

— Правда, вы в это не верите? Ах, послушайте, однажды в детстве, открыв глаза после короткого послеобеденного сна, я, еще совсем сонный, услышал, как моя мать самым естественным тоном кричит вниз с балкона: «Что вы делаете, дорогая? Такая жара!» Какая-то женщина ответила из сада: «Я пью кофе на лоне природы». Она сказала это не задумавшись и не слишком отчетливо, словно каждый должен был этого ожидать.

Я решил, что мне задают вопрос. Поэтому я полез в задний карман штанов и сделал вид, будто что-то ищу там. Но я ничего не искал, я хотел только изменить свой вид, чтобы показать свое участие в разговоре. При этом я сказал, что этот случай очень любопытен, и что я совершенно не понимаю

его. Я прибавил также, что не верю в его подлинность, и что он, вероятно, выдуман с какой-то определенной целью, которая мне-то и непонятна. Затем я закрыл глаза, ибо они у меня болели.

— О, это хорошо, что вы разделяете мое мнение, и никакого своекорыстия не было в том, что вы задержали меня, чтобы сказать мне это.

Не правда ли, почему я должен стыдиться или почему должны мы стыдиться — того, что хожу я не выпрямившись и тяжело, не стучу палкой о мостовую и не задеваю одежды громко проходящих мимо людей. Не вправе ли я, наоборот, упорно жаловаться на то, что как тень, съезжившись, шмыгаю вдоль домов, иногда исчезая в стеклах витрин?

Какие дни я провожу! Почему все построено так скверно, что порой рушатся высокие дома, а внешней причины на то найти невозможно. Я лажу потом по кучам щебня и спрашиваю каждого, кого встречу: «Как это могло случиться? В нашем городе... Новый дом... Сегодня это уже пятый... Подумайте только». Тут мне никто не может ответить.

Часто падают люди на улице и остаются лежать мертвыми. Тогда лавочники открывают свои завешанные товарами двери, проворно прибегают, уносят мертвеца в какой-то дом, выходят затем, улыбаясь ртом и глазами, и говорят: «Добрый день!.. Небо пасмурное... Головные платки... идут хорошо... Да, война». Я шмыгаю в этот дом и, робко подняв несколько раз руку с согнутым пальцем, стучу наконец в окошечко привратника. «Дорогой, — говорю я приветливо, — к вам принесли покойника. Покажите мне его, прошу вас». И когда он качает головой, словно в нерешительности, я говорю твердо: «Дорогой. Я из тайной полиции. Покажите мне мертвеца сию же минуту». — «Мертвеца? — спрашивает он теперь почти обиженно. — Нет, у нас здесь никакого мертвеца нет. Это приличный дом». Я прощаюсь и ухожу.

А потом, когда мне нужно пересечь большую площадь, я все забываю. Трудность этого предприятия приводит меня в замешательство; и я часто думаю про себя: «Если такие большие площади строят только от зазнайства, почему бы не строить и каменных перил, которые бы вели через площадь? Сегодня дует юго-западный ветер. Воздух на площади волнуется. Башенный шпиль ратуши описывает маленькие круги. Почему не утихомят эту сутолоку? Что это за шум такой! Все оконные стекла звенят, а столбы фонарей гнутся, как бамбук. Плащ святой Марии на колонне надувается, и бушующий воздух хочет сорвать его. Неужели никто этого не видит? Господа и дамы, которым следовало бы идти по камням, плывут по воздуху. Когда от ветра спирает дыхание, они останавливаются, перекидываются не-

сколькими словами и кланяются в знак приветствия, а когда ветер ударяет снова, они не могут сопротивляться ему и все одновременно поднимают ноги. Хотя они и должны придерживать свои шляпы, глаза их глядят весело, словно погода стоит ласковая. Только мне страшно.

Протестуя против такого обращения со мной, я сказал:

— Историю, которую вы раньше рассказали мне о своей матери и женщине в саду, я вовсе не нахожу любопытной. Я не только слышал и наблюдал множество подобных историй, в некоторых я даже участвовал. Это же дело вполне естественное. Думаете, будь я на балконе, я не мог бы сказать того же, а из сада ответить так же? Простейший случай!

Когда я сказал это, он показался очень счастливым. Он сказал, что я красиво одет и ему очень нравится мой галстук. И какая у меня нежная кожа! И что признания становятся особенно ясны, когда их опровергают.

в) История богомольца

Потом он сел рядом со мной, ибо я оробел, я освободил ему место, склонив голову в сторону. Тем не менее от меня не ускользнуло, что и он сидел в каком-то смущении, все время старался держаться на маленьком расстоянии от меня и говорил с трудом:

— Какие дни я провожу! Вчера вечером я был в гостях. Я только поклонился при газовом свете барышне со словами: «Я, право, рад, что дело уже идет к зиме», — только я поклонился с этими словами, как вдруг, к своей досаде, заметил, что правое бедро у меня вывихнуто. И коленная чашка тоже чуть-чуть расширилась.

Поэтому я сел и сказал — ведь я всегда стараюсь сохранить связь между своими фразами: «Ибо зимой живетсЯ с гораздо меньшим трудом, легче вести себя как следует, не надо так напрягаться из-за своих слов. Не правда ли, милая барышня? Надеюсь, я прав в этом вопросе». При этом правая моя нога причиняла мне много неприятностей. Ибо сперва казалось, что она совсем распалась на части, и лишь постепенно, путем сжиманий и целенаправленных смещений, я привел ее более или менее в порядок.

Тут я услышал, как девушка, которая из сочувствия тоже села, тихо говорит:

— Нет, вы мне совсем не импонируете, ибо...

— Погодите, — сказал я удовлетворенно и с надеждой, — вы не должны, милая барышня, тратить и пяти минут на то, чтобы говорить со мной. Кушайте между словами, прошу вас.

Я протянул руку, взял пышную гроздь винограда, свисавшую с чаши,

приподнятой бронзовым ангелочком, подержал ее в воздухе, затем положил на тарелочку с синей каемкой и не без изящества подал девушке.

— Вы совсем не импонируете мне, — сказала она, — все, что вы говорите, скучно и непонятно, но от этого не верно. Я думаю, сударь, — почему вы все время называете меня «милая барышня» — я думаю, вы только потому избегаете правды, что она для вас слишком трудна.

Боже, тут я взыграл!

— Да, барышня, барышня, — чуть ли не закричал я, — как вы правы! Милая барышня, поймите, это огромная радость, когда ты вдруг оказываешься в такой степени понят, хотя вовсе не стремился к тому.

— Правда слишком трудна для вас, сударь, ведь какой у вас вид! Вы всю свою длину вырезаны из папиросной бумаги, из желтой папиросной бумаги, силуэтом, и когда вы ходите, вы должны шелестеть. Поэтому не стоит волноваться из-за ваших манер или вашего мнения, вы же должны сгибаться от сквозняка, который сейчас как раз продувает комнату.

— Я этого не понимаю. Вот здесь в комнате стоят там и сям разные люди. Они охватывают руками спинки стульев, или прислоняются к пианино, или медленно подносят к губам бокал, или робко уходят в соседнюю комнату, и когда ушибут в темноте правое плечо о шкаф, думают, дыша у открытого окна: «Вон там Венера, вечерняя звезда. А я здесь в гостях. Если тут есть какая-то связь, я не понимаю ее. Но я даже не знаю, есть ли тут связь». И видите, милая барышня, из всех этих людей, которые соответственно такой для себя неясности ведут себя так по-разному, так даже смешно, я один кажусь достойным услышать о себе нечто совершенно ясное. А чтобы это было к тому же начинено приятностью, вы говорите это насмешливо, так что замечаешь еще что-то, как сквозь величавые стены выгравированного внутри дома. Для взгляда тут почти нет преград, днем сквозь большие дыры окон видишь облака неба, а ночью звезды... Что, если я в благодарность за это поведаю вам, что когда-нибудь все люди, которые хотят жить, будут на вид такими же, как я; этакими силуэтами, вырезанными из желтой папиросной бумаги, — как вы заметили, — и при ходьбе они будут шелестеть. Они не будут иными, чем теперь, но вид у них будет такой. Даже у вас, милая...

Тут я заметил, что девушка уже не сидит рядом со мной. Ушла она, должно быть, после своих последних слов, ибо теперь она стояла далеко от меня у окна в окружении трех молодых людей, которые, смеясь, что-то говорили из высоких белых воротников.

Затем я с удовольствием выпил бокал вина и пошел к пианисту, который

в полном одиночестве играл сейчас, кивая головой, какую-то печальную пьесу. Я осторожно склонился к его уху, чтобы он только не испугался, и тихо сказал под мелодию пьесы:

— Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня, ибо я намерен быть счастливым.

Поскольку он не слушал меня, я постоял некоторое время в смущении, а потом, подавляя свою застенчивость, стал ходить от одного гостя к другому и невзначай говорил:

— Сегодня я буду играть на пианино. Да.

Все, казалось, знали, что я не умел играть, но любезно смеялись по поводу этого приятного вторжения в их разговоры. Но совсем внимательны стали они лишь тогда, когда я очень громко сказал пианисту:

— Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня. Я, понимаете ли, намерен быть счастливым. Речь идет о некоем триумфе.

Пианист хоть и прислушался, но не покинул своей коричневой скамеечки, да, казалось, и не понимал меня. Он вздохнул и закрыл лицо своими длинными пальцами.

Я уже посочувствовал ему и хотел подбодрить его, чтобы он продолжил игру, когда подошла хозяйка с группой гостей.

— Это смешная затея, — сказали они и громко засмеялись, словно я хотел совершить что-то противоестественное.

Девушка тоже подошла, презрительно посмотрела на меня и сказала:

— Пожалуйста, сударыня, позвольте ему поиграть. Он, может быть, хочет как-то развлечь нас. Это похвально. Пожалуйста, сударыня.

Все громко обрадовались, явно, как и я, полагая, что это говорится иронически. Только пианист безмолвствовал. Он сидел с опущенной головой и водил указательным пальцем левой руки по дереву скамеечки, словно рисуя на песке. Я стал дрожать и, чтобы скрыть это, сунул руки в карманы штанов, и говорить отчетливо я не мог, ибо все мое лицо готово было заплакать. Поэтому я должен был выбирать слова так, чтобы мысль, что я готов заплакать, показалась слушателям смешной.

— Сударыня, — сказал я, — я должен сейчас поиграть, ибо...

Забыв причину, я внезапно сел за пианино. Тут я снова понял свое положение. Пианист встал и деликатно перешагнул через скамеечку, ибо я загордил ему дорогу.

— Погасите, пожалуйста, свет, я могу играть только в темноте.

Я выпрямился.

СОДЕРЖАНИЕ

АМЕРИКА (Пропавший без вести). Роман. Перевод М. Рудницкого	5
ПРОЦЕСС. Роман. Перевод Р. Райт-Ковалевой.	227
ЗАМОК. Роман. Перевод Р. Райт-Ковалевой	395

ПРИГОВОР. Новелла. Перевод М. Рудницкого	634
ПРЕВРАЩЕНИЕ. Новелла. Перевод С. Анта	644
В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ. Новелла. Перевод С. Анта	685

СБОРНИК «СОЗЕРЦАНИЕ»

Дети на дороге. Перевод Р. Гальпериной	709
Разоблаченный проходимец. Перевод Р. Гальпериной	712
Внезапная прогулка. Перевод С. Анта	713
Решения. Перевод С. Анта	714
Прогулка в горы. Перевод И. Татариновой	714
Горе холостяка. Перевод С. Анта	715
Купец. Перевод И. Татариновой	715
Рассеянно глядя в окно. Перевод С. Анта	717
Дорога домой. Перевод С. Анта	717
Бегущие мимо. Перевод С. Анта	718
Пассажир. Перевод С. Анта	718
Платья. Перевод И. Татариновой	719
Отказ. Перевод С. Анта	719
Наездникам к размышлению. Перевод С. Анта	720
Окно на улицу. Перевод С. Анта	720
Желание стать индейцем. Перевод С. Анта	721
Деревья. Перевод И. Татариновой	721
Тоска. Перевод И. Татариновой	721

СБОРНИК «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»

Сельский врач. Перевод Р. Гальпериной	725
Новый адвокат. Перевод Р. Гальпериной	730
На галерее. Перевод С. Анта	731
Старинная запись. Перевод Р. Гальпериной	731
Перед Законом. Перевод Р. Райт-Ковалевой	733
Шакалы и арабы. Перевод С. Анта	734
Посещение рудника. Перевод Р. Гальпериной	738
Соседняя деревня. Перевод Р. Гальпериной	740
Императорское послание. Перевод И. Щербаковой	740
Забота главы семейства. Перевод С. Анта	741
Одиннадцать сыновей. Перевод Р. Гальпериной	742
Братоубийство. Перевод Р. Гальпериной	745
Сон. Перевод Р. Гальпериной	747
Отчет для Академии. Перевод Л. Черной	749

СБОРНИК «ГОЛОДАРЬ»

Первая боль. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	758
Маленькая женщина. <i>Перевод М. Абезгауз</i>	760
Голодарь. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	765
Певица Жозефина, или Мышиный народ. <i>Перевод Р. Гальпериний</i>	773

НОВЕЛЛЫ И ПРИТЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОСМЕРТНО

Описание одной борьбы. <i>Перевод С. Анта</i>	787
Свадебные приготовления в деревне. <i>Перевод С. Анта</i>	822
Большой шум. <i>Перевод С. Анта</i>	837
Гигантский крот. <i>Перевод В. Топер</i>	837
Блюмфельд, пожилой холостяк. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	849
Мост. <i>Перевод С. Анта</i>	868
Охотник Гракх. <i>Перевод С. Анта</i>	869
Всадник на ведре. <i>Перевод С. Герасимовой</i>	873
Как строилась Китайская стена. <i>Перевод В. Станевич</i>	875
Сосед. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	885
Стук в ворота. <i>Перевод С. Герасимовой</i>	887
Гибрид. <i>Перевод С. Герасимовой</i>	888
Обычная путаница. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	890
Железнодорожные пассажиры. <i>Перевод С. Анта</i>	890
Правда о Санчо Пансе. <i>Перевод С. Анта</i>	891
Прометей. <i>Перевод С. Анта</i>	891
Молчание сирен. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	891
Герб города. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	893
Посейдон. <i>Перевод В. Станевич</i>	894
Содружество. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	895
Ночью. <i>Перевод В. Станевич</i>	895
Отклоненное ходатайство. <i>Перевод И. Татариновой</i>	896
К вопросу о законах. <i>Перевод В. Станевич</i>	900
Экзамен. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	902
Мобилизация. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	903
Коршун. <i>Перевод В. Станевич</i>	905
Рулевой. <i>Перевод В. Станевич</i>	905
Волчок. <i>Перевод В. Станевич</i>	906
Маленькая басня. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	906
Возвращение. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	907
В дорогу. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	907
Защитники. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	908
Исследования одной собаки. <i>Перевод С. Герасимовой</i>	910
Супружеская пара. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	942
Вернись! <i>Перевод И. Щербаковой</i>	946
О притчах. <i>Перевод И. Щербаковой</i>	946
Нора. <i>Перевод В. Станевич</i>	947
Воззвание. <i>Перевод С. Анта</i>	974
Новые лампы. <i>Перевод С. Анта</i>	975
Обыкновенная история. <i>Перевод С. Анта</i>	976
Содружество подлецов. <i>Перевод С. Анта</i>	977
Отъезд. <i>Перевод С. Анта</i>	978
Комментарий (Не надейся!) <i>Перевод С. Анта</i>	978
Письмо отцу. <i>Перевод С. Герасимовой</i>	978
Завещание. <i>Перевод С. Герасимовой</i>	1016

Н. Пальцев. Эффект Кафки, или Ностальгия по человечности. Послесловие 1018